

* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А *
*

Валентин Николаев



Том I

Библиотека семейного романа

Валентин Николаев

**Собрание сочинений
в двух томах. Том I**

МОФ «Родное пепелище»

2010

УДК 82-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

Николаев В. А.

Собрание сочинений в двух томах. Том I / В. А. Николаев —
МОФ «Родное пепелище», 2010 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-031-9

Валентин Арсеньевич Николаев принадлежит к числу скромных тружеников на ниве отечественной словесности, и между тем, не каждому русскому писателю выпадает честь написать замечательное по своей искренности, честности и добросовестности произведение о жизни Пресвятой Богородицы. В первый том полного собрания сочинений вошли ранние произведения писателя, созданные им во времена тяжёлые для веры. И стоит только удивляться тому, насколько все они проникнуты духом христианской любви, высоким понятием о нравственности, долге и чести.

УДК 82-3

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-98948-031-9

© Николаев В. А., 2010

© МОФ «Родное пепелище», 2010

Содержание

Свет таланта	6
Повести	11
Закон Навигации	11
Беда за бедой	11
1	11
2	12
3	12
4	15
Тяжелая погода	19
1	19
2	20
3	22
Разговор на высшем уровне	25
1	25
2	27
Отошла коту масленица	30
1	30
2	32
Сварщик ушел за глухарями	35
Ледоход	37
1	37
2	38
Семеново дело	42
1	42
2	43
3	44
4	47
5	48
Отдавай чалку!	52
Первомай	54
1	54
2	55
Вслед за весной	59
1	59
2	61
Не убежит река	67
Творец сияний	69
Боцман	75
Строповна Европовна...	81
Тришка-рви	87
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Валентин Николаев
Собрание сочинений в двух томах. Том I
Повести. Рассказы. Очерки

© А. В. Николаева – наследница

© НООФ «Родное пепелище»

Свет таланта

В очередном из своих изданий Валентин Арсеньевич Николаев рассказывал о себе так: «21 октября 1937 года – время моего рождения. Какое-то роковое время в жизни людей и страны. Небольшая рыбацко-сплавщицкая и одновременно сельско-охотничья деревня притягивала тогда многих: рыбаков, охотников, бродяг, нищих, странников, налоговых инспекторов... У всех было «дело» в нашей деревне: все были голодны и шли хоть чем-нибудь пожить, хотя бы рыбинкой.

Официально место моего рождения: деревня Вторушино Юрьевоцкого района Ивановской области. Древний город Юрвец, основанный князем Юрием Всеволодовичем в 1225 году, был постоянным местом, куда стремились зимой и летом из всех окрестных деревень – на базар, в церковь, в больницу... Юрвец тогда не был ещё полузатоплен (Горьковским водохранилищем) и его каменные мостовые, казалось, хранили дыхание древности. Отзвук конницы орд Батые и шествие ополчения Минина и Пожарского, громовая проповедь протопопа Аввакума – всё это как бы застыло на веки в маленьких пыльных прогулках среди деревянных домишек. До революции в юрьевоцких пределах было 12 церквей и три монастыря. Юрвец был неповторимо красив при слиянии Унжи и Волги. Недаром он притягивал на свои берега знаменитых художников: братьев Чернецовых, Саврасова, Левитана... С Юрвцом связано всё моё детство: здесь были куплены первые картины, книжки, ружьё.

Родился я в семье колхозников-рыбаков, в небедной грамотной семье. Не только родители, а и деды умели писать и считать. Один дед, по отцу, был сельским старостой, другой – мелким лесопромышленником. Обоих в «крутое» время раскулачили, но не расстреляли и не выслали; заступился народ: «Они не эксплуататоры, а труженики». Послушали. Я помню, в каретнике, сараях, на пчельнике, в овинах догнали наши старинные тарантасы, кошовки, хомуты, ремённые вожжи, колоды... Всё это было ещё от того старого, XIX века.

После сельской школы я учился в Ивановском индустриальном техникуме и Саратовском политехническом институте. А окончил Горьковское речное училище и Литинститут в Москве. Прозу начал писать в Речном училище, посещая литературно-творческий кружок писателя Ивана Михайловича Денисова. Другим моим учителем в Литинституте, был Борис Васильевич Бедный, автор знаменитых «Девчат».

С 1974 года жил в г. Мантурово на Унже и писал свою книгу о шкиперах «Не убежит река». Член Союза писателей (СССР), России с 1978 года, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Нижнего Новгорода.

«Первый мой рассказ «Выстрел» был опубликован в газете речников «Волжская вахта» в 1959 году, – продолжает он рассказывать о себе уже в другом издании. – Окончив училище, работал в Саратовском речном порту крановщиком. А к 1965 году вернулся в Горький. Это было время поиска: я искал землю и людей, о которых хотелось бы писать. Всё это можно было найти только на родине. И я вернулся на Унжу. Тут я нашел всё. Навигации 1965, 1966, 1967 годов были лучшими в моей жизни: я занимался любимой работой (был старшим механиком на плавучем дизель-электрическом кране, а затем линейным механиком), жил в родных местах среди близких друзей, а главное – я снова попал в родную языковую стихию, знакомую и любимую с детства. В эти годы, несмотря на загруженность речной работой, я много писал».

В 1967 году Валентин Николаев поступает в Литературный институт имени А. М. Горького в семинар Бориса Васильевича Бедного. Вскоре в периодической печати начинают появляться его рассказы и очерки (в журналах «Молодая гвардия», «Дружба», газетах «Литературная Россия», «Лесная промышленность» и др.)

В рассказах и очерках этого периода Валентин Николаев более лиричен, чем прежде. Он стремится достичь мастерства в литературном ремесле, и главные свои творческие силы

отдаёт изобразительной части повествования. Много работает над языком – и многого в этом достигает. Тщательно занимается разработкой сюжетов.

Как отмечал Борис Васильевич Бедный в предисловии к первой книге писателя: «Валентин Николаев прошёл путь от первых своих лирических набросков – к полновесной прозе. Решающее значение в его росте сыграло самокритичное отношение к своим занятиям. Он не умеет писать «вприглядку», ему самому надо испытать судьбу своих героев: побывать в тех местах, где были они, сделать своими руками их работу».

Повесть «Закон навигации» и появившийся в следующем году в журнале «Наш современник» очерк «Весновка» заявили о нём как о талантливом и исключительно наблюдательном бытописателе. Правдивость, которой достигает автор в описании быта и работы речников, сплавщиков, в повести «Закон навигации», удивительная. Так же, как и в рассказах «Утро», «Камень», «Долгая дорога», посвящённых дорогим его сердцу воспоминаниям детства и юности, взрослого становления.

Сейчас, после перехода Валентина Арсеньевича в вечность (отошёл 11 декабря 2008 года) можно с уверенностью отметить цельность и последовательность развития его таланта.

И к первоначальному этапу этого развития необходимо отнести всё, что написано и опубликовано им до середины семидесятых годов – начиная с первого рассказа «Выстрел», и кончая двумя первыми книгами «Солнышко – всем» (М., «Современник», 1976) и «Дыхание берегов» (Горький, ВВКИ, 1977). Происходит становление писателя, выбор своей темы, своих героев.

Наступление, если можно так сказать, второго этапа в творчестве писателя отмечено следующей его книгой – «Не убежит река» (Горький, ВВКИ, 1981).

После «Закона навигации» и «Весновки», доброжелательно встреченных критикой и читателями, наступило некоторое напряжённое затишье. Валентин Арсеньевич Николаев по двум предыдущим книгам в 1978 году был принят в члены Союза писателей СССР, и следующая его работа должна была подтвердить не только трудоспособность автора, его умение находить новые сюжеты и темы, но и показать дальнейшее развитие и разработку нравственных, этических проблем.

И Валентин Арсеньевич оправдывает ожидания. Его новая книга вновь посвящена Унже, речникам. А если точнее, то её верным работягам – шкиперам. Мы не можем согласиться с некоторыми высказываниями в адрес книги «Не убежит река», что, мол, скучно читать. На наш взгляд, книга читается с интересом. Написана она хорошим языком, с присущим Валентину Николаеву ненавязчивым юмором. Хотя, конечно, не все рассказы одинаково хороши, но это ни в коей мере не умоляет достоинств книги в целом.

В. А. Николаев кропотливо работает над каждым предложением, каждым словом, в его рукописях буквально нет живого места, по несколько раз перечеркнуто, исправлено. И стоит только удивляться тому впечатлению лёгкости, раскованности, которое оставляет язык этой книги.

Начатая в «Законе навигации» разработка народного характера получила логичное продолжение на крепком профессиональном уровне. Казалось, писатель находится в прекрасной творческой форме и следующая книга не за горами. Однако он надолго замолкает. Поначалу это удивляло, затем начало настораживать. Не выписался ли?

Но теперь определённо можно сказать, что повествованием о шкиперах закончился ещё один этап в творческой биографии писателя – оттачивания, закрепления мастерства. Должно было наступить время глубоких раздумий.

И вот в июне 1983 года в «Рекламном вестнике» появляются первые отрывки такой будущей повести. По прочтении их становилось ясным, что в творчестве писателя наступает новый сложный, но многообещающий период.

И Валентин Николаев вновь оправдывает читательские надежды. Опубликованная в 1984 году в журнале «Волга» повесть «Шумит Шилекша» признаётся лучшим произведением года. Затем она выходит в отдельной книге, названной «Верховья».

Критик А. Стражевский в «Литературной России» писал: «Валентин Николаев напоминает нам об истоках тех реальностей нашей жизни, которые мы связываем с понятиями народного характера, уклада жизни, моральных и бытовых традиций».

Но и после столь полного признания повести критикой Валентина Арсеньевича не покидала некоторая неуверенность. Чувствовал сам, не всё в повести додумано, не обо всём, о чём хотелось сказать, сказано. Но своему закону: каждое произведение – откровение перед читателем, он следует уже до конца жизни.

В одном из интервью В. А. Николаев так говорит об этой повести: «Шилекшу» я возил с собой более двадцати лет. Но сказать, что писал двадцать лет, будет неверно, хотя бы потому, что за это время написано всё, что написано – повесть «Закон навигации», рассказы, очерки, киносценарии, статьи... Что же касается откровения... Любая вещь – откровение. Иначе не стоит писать. Но если ещё откровеннее: в первых редакциях «Шилекши» вселенских проблем было меньше. Они напластовались позднее, самой жизнью. Иными словами – кое-что просилось уже не только от души, а и от сознания. А слить то и другое в единое, цельное – самая трудная задача. Думаю, что мне не всё здесь удалось. Писать об этом надо ещё больше. Что же касается нравственности, с неё, собственно, всё и начинается. Это самая трудная и самая долговременная задача. Решим мы её – и тогда отпадет сам по себе целый комплекс других задач. Собственно, этим всегда и занималась мировая литература, а русская более всего. Нравственность есть здоровье народа».

В 1991 году в государственном Волго-Вятском издательстве успела выйти в свет последняя прозаическая книга Валентина Арсеньевича «Светлым-светло».

Затем – развал Союза, разбазаривание народной собственности, разгул бандитизма, безнравственности...

Чтобы не остаться без пенсии (противоправный Ельцинский указ подкосил тогда многих литераторов), Валентин Арсеньевич устраивается работать сторожем в детский садик на Варварке. И там начал создавать заметки о литературе, литературном труде, которые впоследствии составили объёмный труд, ёмко и удачно названный соответственно времени: «В России в непогоду». Книга станет заметным явлением в русской литературе. Особенно их раздел «Тоска по мастеру». Первую публикацию в газете «Курьер» автор предваряет небольшим вступительным словом, в котором отмечает: «Со мной бывает такое. Когда политические страсти плещут через край и вся жизнь перевернута с ног на голову, когда по телевидению орут как бы не от мира сего... Мне хочется убежать... потому что сегодняшняя жизнь опустошает душу... Хочется убежать от города, потом от деревни. Убежать туда, где слышно без посторонних звуков, как падает лист с дерева. И вот осиротевшее поле: три старухи в деревне и четыре пустые деревни окрест. Сижу, перебираю в памяти всё, что насовало туда время. Надо рассортировать, разобрать наносы... Попробую».

И эта непростая, требующая определённой самоотверженности работа началась. Самоотверженности потому, что предполагает полную откровенность перед собой и читателями, искреннюю оценку прожитого и пережитого, которая далеко не всем может понравиться, не у всех найти доброжелательный отклик. А кто-то может и вовсе посмеяться над тем, что для самого автора является самым дорогим и сокровенным. И всё-таки Валентин Арсеньевич Николаев решился на написание этой книги. Решился как бы невзначай, интуитивно, сам ещё в полной мере не осознавая, какую работу и какую ответственность взваливает на свои плечи.

С первой же публикации записки сразу были замечены и с интересом приняты многими читателями. «Размышления провинциала» (такой подзаголовок имеет книга, и фрагменты из неё не раз публиковали «Нижегородские новости», «Земля нижегородская») подкупили чита-

теля своей искренностью и глубоким чувством сопереживания со всем тем, о чём повествует и размышляет автор. Ибо ему, читателю, в большинстве своём также близка и тема вымирающей деревни, и тема сосуществования нас с окружающей природой – лесом, полем, рекой, и проблема отношения отцов и детей, одиночества, и попытки осознания прожитых лет... Размышления автора на темы вечные, близкие каждому из нас, помогают найти читателю ответы на сокровенные, подсознательно мучившие его вопросы. И в то же время ощутить, что ты не одинок, что ещё кто-то рядом думает, подобно тебе, и обеспокоен тем же. Но в то же время заметки очень часто несут на себе груз обобщающего, вселенского значения, как, например, в короткой новелле о застывшем озере, затерянном в глубине осеннего леса и покрывшемся ненадёжным прозрачным ледком. «Осиновый лист упал в озеро, поплавал среди березовых и утонул. Потом озеро замерзло, и часть березовых листьев впаялась в лёд – будто золотые монеты. Я нашёл то озеро в лесу, лёг на лёд и стал глядеть в глубину озера... С детства не глядел я так в лесное озеро. Полвека прошло. И вот ничего не изменилось в подводном царстве. Но как много изменилось в моей жизни, да и сам я...

А вдруг кто-то смотрит на нашу земную жизнь, думается мне. Смотрит сквозь небесный лёд прямо мне в затылок. И ему тоже кажется, что на Земле также ничего не изменилось за ту полсотню лет, да хоть за пятьсот».

Последний творческий период Валентина Арсеньевича оказался довольно продуктивным и интересным. Освободившись от работы над заметками из цикла «Тоска по мастеру» он по предложению православного издательства «Родное пепелище» подготовил четыре книжки для детей – «Авва Даниил», «Алексей, человек Божий», «Земная жизнь Пресвятой Богородицы», «Горячий апостол, или Святой апостол Пётр». Пересказанные жития написаны серьёзно, глубоко продуманы, философичны и в то же время легко читаемы, потому что написаны замечательным, образным, художественным языком. Редкое сочетание, которое подвластно перу только истинного писателя, художника. Это высокопрофессиональные работы, которые уже выдержали несколько переизданий.

Особняком в этом ряду стоит книга «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». И это – большая удача писателя (не зря её перевели на сербский язык, создали аудиокнигу на одной из московских студий звукозаписи), но и огромный духовный труд, стояние в вере.

Валентин Арсеньевич рассказывал, какие искушения преследовали его на Унже, в старом его родительском доме, когда он там трудился над рукописью книги.

– Бесы по ночам, когда я писал, так грохотали мне в стены дома, что думал – они его по брёвнышку разнесут. Вот насколько им ненавистно имя Пресвятой Богородицы.

От этого и ценность книги, созданной в таких трудах, значительно возрастает. Даря её автору этой статьи, Валентин Арсеньевич написал: «Валерию Сдобнякову моё великое (по наглости) творение. Хотя, всё искренне, и – с любовью...»

Именно с любовью написаны и последние рассказы писателя: «Счастье в метельных дубах», «Оглашенный», «Сизый шилохвост», «Где-то за Шомохтой». По содержанию это большие, классические русские рассказы, написанные в традициях отечественного литературного жанра, с развёрнутыми сюжетами, с психологизмом, с поиском смысла жизни, с ощущением и оценкой проходящего, но не исчезающего в вечности земного времени. Мы не будем пересказывать сюжеты этих рассказов. Потому что это как раз тот случай, когда читатели сами всё поймут и оценят: у каждого есть и свои воспоминания детства, и свои оценки сегодняшнего времени.

Но вот на рассказе «Кусок хлеба», написанный ещё во время учёбы в Литературном институте, в комнате общежития в комнате общежития – нам бы хотелось остановиться особо.

У этого рассказа сложная издательская судьба. В советское время его публикацию запрещала цензура, и лишь одна из провинциальных газет тогда осмелилась его опубликовать.

По своему сюжету повествование возвращает нас в сороковые годы прошлого века. Идёт Великая Отечественная война. Многие дети остались без отцов. А вот маленькому герою рассказа повезло. Его отец хоть и инвалидом, без руки, а вернулся домой живым. Вернулся в канун Пасхи к изголодавшейся, измучившейся за войну семье. С трудом справляясь с работой, отец начал одной рукой неловко, неумело налаживать хозяйство. Но жили в этих краях и ещё более обездоленные люди – оборванные, нищие пленные немцы. Они ходили по деревням, просили подавание. И им прощали войну, делились последним куском сердобольные русские женщины, чьи мужья, может быть, и убиты-то были на бранном поле этими самыми немцами. Зашёл такой нищий и в дом героев рассказа. В этом кульминация произведения. Вся мешанина сложных чувств разом выплёскивается на страницы – и всё правда, и всему веришь, и понимаешь, что иначе и не могло быть. И каждый на свои слова и поступки – мать, отец, маленький мальчишка, их сын, пленный нищий немец – имеют право, исходя из какой-то немислимой для нашего понимания и объяснения высшей правды, существующей вне времени, вечной от сотворения мира. Валентин Николаев эту правду каким-то чудом воспринял, почувствовал и передал.

Смеем заметить, что в работе над этим рассказом писателю открылась высшая правда человеческого бытия, где ненависть и жалость тесно переплетены и неотъемлемы. И только истинное добро имеет цену и даёт стимул продолжению жизни. Этот рассказ глубоко христианского мировоззрения, хотя автор, когда писал его, вряд ли думал об этом. Это мировоззрение жило в нём на генетическом уровне, накопленное многими поколениями предков. И вот выплеснулось, вырвалось наружу.

Проводить Валентина Арсеньевича Николаева в последний путь пришли бывшие его ученики, те, кто в течение двадцати с лишним лет посещали занятия Литературного объединения, которому руководитель дал соответствующее своему строю мыслей название – «Воложка». И теперь стараниями благодарных учеников выходит это посмертное полное собрание сочинений Валентина Арсеньевича, душу которого, хочется верить, встретила в вечных обителях надежда и упование всех христиан, Пресвятая Владычица наша Богородица.

*Валерий Сдобняков,
Член Союза Писателей России,
главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век»*

Повести

Закон Навигации

Беда за бедой

1

Полвека набирала силу сплавная контора на реке Унже. На привольных берегах ее по диким замшелым суборям отстроились прочные поселки. Раздольно и широко жили в них сплавики – более сотни катеров, кранов, лебедек день и ночь пытели на сплавных рейдах, день и ночь тянулись с формировочных сеток плоты. С давних времен несчетно вырубался по Унже лес, в плотках, соймах и баржах сплавливали его в далекие безлесные низы Волги. Поэтому в последние годы все чаще стали поговаривать, что приходит-де унженскому лесу конец.

И уж потянулся кое-кто, опережая события, в другие нетронутые леса, к дальним необжитым рекам – на Север, в Сибирь, на Сахалин... С неведомых загадочных мест писали длинные письма, хвалились, зазывали...

Однако жизнь на унженских берегах текла пока прежним руслом: слухам если и верили, то не все. Уже подкрадывалась полегоньку новая весна, а в затоне сплавной конторы, значит – и новая навигация.

И были в затоне свои заботы и беды. Минувшей осенью умер старик Панкратыч – удивил всех, осиротил затон. До него много было начальников у транспортного участка, не держались они по разным причинам: тяжела должность, не нравилось жить в глуши лесной, других просто изводил, выживал из затона своенравный плавсоставный люд.

Старик Панкратыч был из местных, из унжиков, бывалый капитан катера, он знал всю округу, всю Унжу от истоков до широкого, как море, устья. Да и Волгу знал... Крепкий, кражистый в своем вечном зеленоватом плаще из брезента он не любил кабинета, бумажки подписывал на ходу, с утра мотался на берегу возле караванки или летел куда-нибудь на своей легкой моторной лодочке.

Перед начальством держался он наособицу, с флотской грубоватой прямоотой, не позволял равнять себя с каким-нибудь начальником «такелажки» и даже с директором тарного завода: флот есть флот – самая образованная, показательная сторона сплавной конторы. Короче, цену себе и участку своему Панкратыч знал, шкиперов, матросов и капитанов в обиду не давал никому. Потому и чувствовали себя транспортники за его надежной спиной всегда в уюте и на гордой высоте.

Так пролетело семнадцать лет. Никому и в голову не приходило, что Панкратычев век тоже не бесконечен.

И вот прозрачным сентябрьским полднем снялся с чалок, завыл сиренами весь сплавной флот и скорбно, самым тихим ходом потянулся за похоронным катером из затона.

Опадал с брез, летел на палубы легкий червонный лист...

Отплакали над свежей могилой капитанские и шкиперовы жены, повздыхали, утерлись и похвалили Панкратыча в последний раз: «И умер вовремя... Навигацию дотянул...»

Через месяц прислали в затон нового начальника – молодого, но уже лысого инженера с какой-то легкомысленной и не флотской фамилией – Чижов. Старики поглядели на него по-капитански вприщур и безнадежно махнули рукой: «А-а... теперь кого хочешь поставь...».

Но хуже всех было капитану Стрежневу. По крайней мере так о себе думал он сам.

2

В тяжелом предутреннем сумраке шесть раз бойко с хрипотцой прокуковала кукушка. Однако Стрежнев и без часов знал, что скоро надо собираться в контору, но пока рано. Лежал, не шевелясь, жену будить прежде времени не хотел, вспоминал на досуге, как гостил в Горьком у сына – инженера в пароходстве. Там бродили они по грузовому причалу, подолгу стояли у вздрагивающих колес кранов, наблюдали зимнюю погрузку песка, перелезали через сугробы, намерзлись... А потом, когда сидели в теплом кабинете пароходства, Стрежнев рассказывал сыну, что слабеет сплавная, что прислали на место Панкратыча в затон совсем зеленого начальника...

Из Горького Стрежнев махнул в Кострому: ездить так ездить! В затон особенно не тянуло. К дочери Нинке, в общежитие медицинского института, явился неожиданно, обрадовал ее. Но тут и застрял, слег в постель: налазилась с непривычки по сугробам в Горьком, совсем отвык за долгий отпуск от холодов. Девчонки, будущие врачи, будто с радостью, авторитетно приговорили его на длительную лежку возле стопы журналов. Сначала только посмеивался над ними, но потом молча засобирались: пора было в затон, отпуск истек! Так с головной болью, покашливая, он и вернулся вчера вечером в свой поселок.

Прошло полчаса – опять напомнила кукушка... Света же новому дню не прибавилось.

Долго не поддавалась эта ночь, а потом вскинулась отчаянной метелью. И в затоне завывло: стонали ванты и стрелы кранов, ныли ржавым рангоутом недоленные, враз обезлюдевшие катера.

Лихо закручивались на белой равнине рейда снежные вихри, со свистом мели промерзлое железо покинутых палуб. Дымно гнались они по улицам поселка к бору и там, у крайнего дома, натываясь на хвойную щетину сосен, слабели, умирали с протяжным шепотом.

В десятом часу от этого, прижавшегося к соснам дома, пробирались непроглядной улицей двое. Нагибаясь и кутаясь, они ступали степенно, след в след – по-волчьи. Первым крупно на шагивал капитан Стрежнев, за ним спешно угадывал в готовый след, не поспевал и сопел механик его – Семен.

На крыльце конторы оба скоренько похлопали себя по плечам, полам, пнули по разу валенками в порог и нырнули в тепло коридора. Здесь еще раз отряхнули друг друга, похлестали шапками о бревенчатую стену, разогнули воротники. Переглянулись.

– Что, сразу пойдем, или как?.. – опросил Семен.

– Подожди, дай отдышаться, – хрипло ответил Стрежнев. Большой, грузный, он закашлялся – перебил шумное дыхание. Толстыми пальцами снял с кустистых бровей снег, вытер руки и достал сигареты.

Глядя на него, закурил и Семен, но оба затягивались нервно, без удовольствия. И опять переглянулись. Теперь согласно, без единого слова бросили окурки в ведро. Собравшись с духом, Стрежнев постучал, прислушались оба, а потом решительно шагнули за порог.

Так для Стрежнева началась последняя его навигация.

3

Лес и лес...

Кроме Стрежнева с Семеном, в кузове машины тряслись еще трое: закутанная женщина, мастер из Сосновки, и молодой капитан из затона Яблочкин, которого осенью вроде разжаловал новый начальник в матросы. Говорили, ночью шел он в затон на своем катере без ходовых огней. Стрежнев не удивился тогда и не стал допытываться: в затоне около сотни капитанов, за всеми не уследишь. Да и не до этого было в то время. Но теперь, на досуге, вспоминал

Стрежнев, как однажды ехал на его катере матрос этого бывшего капитана, вез на недельную вахту целый мешок картошки.

– Куда ты столько? – удивился тогда Стрежнев.

– А на всю команду, – ответил парень. – Капитан у меня ничего не возит и денег на продукты не дает. Да еще на бутылку иной раз просит... А намекнул как-то – говорит, выгоню. Просто не знаю, как навигацию доработать...

Мало приходилось Стрежневу встречаться с Яблочкиным, а после того разговора и вовсе не хотелось.

Куда он ехал теперь, зачем, Стрежнев не знал, да и не желал: и так тяжело. Был Стрежнев на всех зол. «Пусть делают, что хотят, наше время, видно, прошло. Два месяца до пенсии, докантуюсь как-нибудь, и шабаш! Пусть устанавливают свои, новые порядки. Поглядим, не вспомнят ли нас, стариков. Валяйте...» – думал, привалившись спиной к кабине, и то дремал, покачиваясь вместе с промерзлым скрипучим кузовом, то глядел, как сзади за бортом вихрилась снежная пыль. Здесь, в лесу, было потише. Только по вершинам сосен-семенников, высоких, как заводские дымящиеся трубы, тащило волоком вьюжную муть. Низкое, будто осевшее небо, было по-зимнему скучно, в измятых, мышинового цвета тучах, которые на лету все расплывались, таяли, сливаясь заодно с вьюгой, с нищим светом всего этого полумертвого дня.

И на дороге тоже скука – однообразно-бело, даже ворон нигде не видать. Э-эх!.. И не подумаешь, что конец марта!..

А машина рычит, рвется, и только мелькают, суетятся по обе стороны красноватые стволы сосен.

«И куда, зачем?..» – все еще как бы не понимал Стрежнев. То, что надо будет в Сосновке ремонтировать чей-то чужой, застигнутый по осени ледоставом катер, не укладывалось в голове. Всем нутром своим Стрежнев еще протестовал, не сдавался и будто ожидал какого-то избавления: так привык к мысли, что и закончит тридцать первую навигацию на своей родной «пятерке».

Понимал он только, что едет туда, куда вовсе не надо ехать, потому что так или иначе (он в это верил твердо) надо будет скоро возвращаться. Но когда и под каким предлогом, было еще не ясно, надо было додумать, но вместо этого в голове все время вертелась какая-то ерунда...

Миновали не замерзающий никогда ручей – Каменный Плес, над которым всю зиму клубился пар, и начался лес незнакомый, как бы уже чужой. И Стрежнев стал постепенно осознавать, что вот он снова не дома, а скоро будет и еще дальше, и просто так обратно не прибежишь: от Сосновки восемнадцать верст.

И стала приходить злость на себя за то, что сидел в кабинете, как старый глухарь, молчал, слушал этого мальчишку, а надо было встать, махнуть рукой и вовремя хлопнуть дверью.

«На кой черт нужен мне этот рыдван! – думал он. – Ну, ладно, припоздал, я свое дело знаю. Мой катер почти готов. Только покрасить да перебрать движок, потом кое-что по мелочам – и все, работай! Заменять ничего не надо. Ведь что и наделал, черт плешивый!.. Не спросил его, кому и отдал-то. А, поди, такому же субчику, как сидит вот в шубе-то...»

И Стрежнев покосился на молодого капитана. Тот пускал по бараньей шерсти поднятого воротника струйками дым – курил, не снимая перчатки.

Семен, сунув руки в карманы, отрешенно глядел в сторону, в глубь леса, мастер дремал, а женщина все поправляла платок, все больше закутывалась, хотя и так были видны у нее только глаза.

«Да что спрашивать, – молодой, зеленый. Какой это начальник!..»

Стрежнев поежился, глянул презрительно еще раз, чтобы уж больше не глядеть, на капитана, вобрал голову поглубже в куцый воротник фуфайки и тоже достал сигарету.

«Ну, я тебе наремантирую, жди...» – нашел наконец Стрежнев то, что искал в своих думах, и немного успокоился.

* * *

А получилось все так.

Когда Стрежнев с Семеном переступили порог, начальник ремонтно-транспортного участка Чижов, застегнутый на все пуговицы флотского кителя, уютно сидел в дали кабинета, склонившись, что-то писал, показывая пришедшим молодую розовую лысину. Мельком, не переставая писать, он глянул из-под светлых бровей, спросил буднично:

– Ну что, нагулялись?

И Стрежнев остановился: по едва уловимой нотке в голосе начальника ухватил он что-то недоброе и поэтому не пошел к столу, как бывало при Панкратыче, прежнем начальнике, чтобы стряхивать там пепел в его пепельницу, пошучивать, ввертывать вовремя крепкие словечки...

Он решил выждать, сел с краю ряда стульев у самой двери, положил хромовую, с тусклой кокардой шапку на колени, затих. Семен присел рядом.

Стрежнев не глядел на начальника, а смотрел перед собой в окно, где кружило сухим снегом. Сидел прямо, старался выровнять дыхание и как бы говорил всем своим видом: «Хоть ты и начальник, а я тоже не кто-нибудь, а капитан, всю жизнь на реке и, если что, так могу и уйти, как пришел. Побольше твоего повидал, ничем не испугаешь теперь».

А Чижов все писал, не глядел на Стрежнева.

И Стрежневу вновь захотелось в коридор, опять закурить бы и уж лучше бы там решить разом дело. Что и говорить, хоть и храбрился он, а вину за собой все же чувствовал: поздновато явился. Спокойствие начальника лишало покоя Стрежнева – он снова нервничал, как и всегда, возвращаясь после долгого зимнего отпуска. Сколько раз давал зарок – не изводить себя. Однако с каждой навигацией все повторялось. За всю жизнь так и не мог привыкнуть, даже при Панкратыче всегда терялся, говорил не то и ожидал слов начальника, как приговора.

Да и было отчего волноваться: за какие-то пять-десять минут решалась судьба предстоящей навигации. Какую посудину дадут, какого механика, матросов, куда пошлют катер работать...

Вот и теперь, хоть и конец всему, но что скажет этот молодой, лысый, как обернет все дело. Будь прежний начальник, Яков Панкратыч, – Стрежнев знал бы точно, что поругается тот для порядка, а пошлет все же на «пятерку» – родной стрежневский катер. Катер еще новый, всего шесть навигаций, как с завода, и все шесть – у Стрежнева.

– Ну, что ж... погуляли бы еще, – начальник кинул ручку на стол.

И у Стрежнева кольнуло внутри: «Отдал «пятерку!» Он удивился своей боли, но сдержался, решил пока молчать. «Будь, что будет».

Начальник отодвинулся в кресле, теперь по-настоящему оглядел пришедших, продолжал:

– К шапочному разбору еще не поздно...

Он повременил, не скажут ли чего капитан с механиком, и, видя, что они готовы слушать его до конца, откашлялся и заговорил уже полуприказным тоном:

– Так вот, Николай Николаевич, поедете в Сосновку, будете ремонтировать «девятку». Катер выгашен у дороги на берег. Чего, как – дело ваше. Чтоб к ледоходу был на плаву. Там и будете пока, на перевозе. Как отремонтируете, так и поплаваете. Тем более вам обоим немного осталось: одному – на пенсию, а ты, Семен, вроде рассчитываться хотел. А?..

– Думал, – буркнул Семен.

– Ну, вот, сделаете – отпущу, а будешь лодыря гонять... – и он поглядел на Семена. – Не обижайся. Учить вас нечему, не маленькие.

– Спасибо, Василий Иваныч, – сказал Стрежнев и полез за сигаретами. – В самую дыру посылаешь! Тридцать навигаций зазря отплавал, да?!

И он нагло прикурил прямо в кабинете.

– Ну, ловили бы окуней дольше. Вас что, ждать будем? И так с ремонтом зашились, все сроки летят. Весну ворожат раннюю. Все! Идите. В мастерской забирайте инструмент, какой нужен, винт, аккумуляторы, потом получите деньги в бухгалтерии... После обеда пойдет в Сосновку машина, чтоб на нее успеть! Собирайтесь. Вот копия приказа.

И он подвинул на край стола листок.

– И сразу же начинайте работать. Дел там по горло. Ремонтную ведомость привезет линейный механик. Он к вам придет попозднее. Да не рычите на него. Он молодой, у нас только первый год работает...

– Василий Иваныч... – хотел спросить о двигателе Семен.

– Все! – Чижов резко катнул по столу ручку, отвалился в кресле и стал сверху расстегивать пуговицы кителя. – Говори, не говори – катеров больше нет, все распределены. Могу только шкиперами на баржи. – Тут он прищурился, повысил голос: – Хотите?

Но Стрежнев уже встал, молча направился к двери: ко всему был готов, но такого не ожидал. Семен поспешил за ним.

* * *

Ровно тридцать навигаций проработал он в сплавной конторе. Многие, с кем когда-то начинал плавать, теперь были на пенсии или, как и он, собирались уйти, а иных, как Панкратыча, не было уж и вовсе. И катеров, и людей разных столько промелькнуло за жизнь – одних начальников в затоне сменилось не меньше десятка – и не упомнить всего. Особенно тяжело было смириться со смертью Панкратыча. Будто обманул он его, не дал доработать последней навигации. Панкратыч любил и уважал Стрежнева, как самого опытного капитана, и Стрежнев знал это.

Сразу же после смерти Панкратыча вызвали Стрежнева в кадры, сказали: «Осталось два месяца, собирайся на пенсию», – Стрежнев даже растерялся...

Отпуск насчитали ему более трех месяцев – гуляй недогулянное за всю жизнь! На все хватило: и рыбу ловить, и плотничать, а под конец и в гости съездить.

Сходилась с новым начальником Стрежнев трудно, а, по правде говоря, и не хотел: слишком свежа была память о Панкратыче. Они даже жили по соседству – крыльцо в крыльцо. Так сжились, что уж не различали ни производственных, ни житейских дел. Не сразу, конечно, с годами все утрясалось, находило свое место и наконец утряслось так, что теперь только бы и жить, и на тебе: умер! А тут и самому – уходи с флота!

И было у Стрежнева тайное возмущение, будто молодой этот явился виной всему, встревожил тихую устоявшуюся жизнь.

Чижов тоже знал, что Стрежнев один из лучших капитанов, от которого многому можно научиться и самому. Знал и о его бывшей дружбе с Панкратычем, про себя хотел бы тоже такой дружбы, тем более что и жил в квартире прежнего начальника. Но со знакомством не навязывался, выжидал и, как казалось Стрежневу, «стриг его под одну гребенку» вместе со всеми. И это обижало еще больше.

4

К Сосновке подъезжали на исходе дня.

Машина бежала к пологому берегу заснеженной Унжи. Веером расстилались по гладкому полю реки тощие метельные хвосты. Поземку тянуло туда, где стоял возле дороги катер. Стрежнев против воли поднялся в кузове и глядел на приближающуюся «свою» посудину.

Господи, каким одиноким казался катер на пустынном заснеженном берегу! Он избочился, привалившись к сугробу, рея на мачте покосилась, с нее свисали концы порванной антенны, окна рубки сплошь залепило снегом, борта поржавели...

Каким-то особым чутьем Стрежнев почувствовал, что все это добром не кончится. Он опять вспомнил весь разговор с начальником, опять глянул на занесенный катер, и тоска в нем исподволь начала расти, шириться.

Поднатужась, машина выползла со льда на берег и стала возле катера.

– Выгружайсь! – открыв дверцу, бодро крикнул шофер. И Стрежнев поморщился: «Легко сказать, «выгружайсь», – на голый берег. До Сосновки вон еще добрых два километра. Какой тут к черту ремонт на пустоплесье!»

Из кузова им сбросили новый винт, лом, кувалду, подали аккумуляторы, связанные попарно резиновые сапоги, сумку с инструментом и рюкзаки.

Когда все это жалко зачернело, утопая в снегу, и кузов снова захлопнули, разжалованный капитан пошутил сверху:

– А на катере-то у вас, знать, птички выют...

Заглушая урчанием смех, машина стрельнула дымом и покатила дальше, к поселку; все тише звякали блестящие на ее колесах цепи.

А Стрежнев с Семеном остались стоять на дороге у своих рюкзаков, обиженные и растерянные.

По крыше рубки, и вправду, невинно прыгали две зеленовато-серые синицы, подергивали длинными хвостами, тонко попискивали в холодной заснеженной тишине.

– Вьют... – зло повторил Стрежнев. – Тебя бы сюда, оглоеда... А то сидишь, завернулся в шубу.

– Ну, что будем делать? – спросил Семен.

– А что... Надо хоть все с дороги убрать. Ну, дослужился на старости лет!.. – и он выругался. – Как будто не нашлось кого помоложе. Сунул... сопляк! Ох, уж начальство пошло, и откуда прислали. Этот – не Яков. «Поедете в Сосновку...» Вон она, Сосновка. До нее еще идти – упаришься...

Перетащив пожитки к катеру, они заметили поодаль вылизанный метелью комель старой осины, пошли, сели на него.

Метель почти совсем улеглась, и теперь белело вокруг ровно и гладко, как в январе. До весны, казалось, еще ох, как далеко!

Закурили, осторожно приглядывались к катеру.

– Хорош... – оценил Семен.

– Лучше некуда, со дна краше.

– А кто на нем плавал ту навигацию?

– А мне все равно! Не допытывался – ответил Стрежнев. – Механиком вроде Гришка Трепло.

– Ну-у!.. Там движок-то, наверно, хуже тарантаса.

– А ты думал, тебе под пломбой!

– Без мастерских нечего и связываться, – пал духом Семен. – Только опозоришься. Ты как хошь, а я не дотронусь.

– А у меня прямо руки чешутся. Сейчас... Я свое отыскал. Теперь вы валяйте с новым начальником.

Неожиданно проглянуло солнце, и всюду помолодело, снег засветился свежо, наивно.

А они все сидели, закуривали по новой и будто испытывали друг друга в терпении. Подходить к катеру обоим было страшно: пока сидишь поодаль, он вроде бы и не твой, можно еще поглядеть и уйти. Наконец Семен не выдержал:

– Может, в нутро заглянем?.. Посмотреть хоть, – ему не терпелось глянуть на двигатель. – Ключи у тебя?

– На вота, иди. Любуйся.

Семен взял ключи и закосолапил к катеру. Стрежнев наступил на окурочек и пошел тоже.

С кормы, где было пониже, они залезли на катер, скользя валенками по накренившейся палубе, обошли кругом, заглянули в люки, покачали изогнутые полуотвалившиеся леера, поспинали кое-где с палубы снег. Семен хотел идти в машинное, но Стрежнев уже остановился у рубки. Зашли. Было в рубке темновато, и Семен сходил, протер снаружи тыльной стороной рукава стекла. Стрежнев попробовал: оба рычага – регулировки газа и реверса – ходили легко, не заклинивало. Но штурвал крутился туго, хотя руль был свободен – на весу.

Стрежнев, хмыкнув, скатал руль снова на нулевой градус.

– Вот как в машине... – о своем вслух подумал Семен.

– Пойдем.

Насилу открыли заржавевший замок, спустились в машинное. Здесь сумрак был еще гуще. Пришлось приподнять верхние решетчатые окна в крыше – фонарь.

Первое, что они увидели, – это рваные, перехлестнутые через дизель промасленные штаны. С фундаментной рамы двигателя, как мох с древней лесной валежины, свисали клочья потемневшей ветоши. На ржавых сланях валялись порыжевшие ключи, гайки, желтые растоптанные окурки. В углу, возле пустого ведра, была кинута затасканная фуфайка, возле нее намело кучку снега – просочился в какую-то щель.

Здесь никого давно не было, но человек, который хозяйничал прошлым летом, будто только что вышел и мог вернуться.

Глядели, молчали.

– Ни до чего не дотронусь, – наконец сказал Стрежнев и полез наверх. Семен двумя пальцами брезгливо прихватил с дизеля штаны и резко хлестнул ими в угол – зло рывкнуло на слани пустое ведро. Семен в ответ ему тихо выругался и шагнул к трапу.

Захлопнули окна фонаря, спустились и опять сели на старую осину. Стрежнев думал, будет ли завтра машина, чтобы уехать обратно: «Чести у этого начальника мне не выработать, да уж и поздно... Да и не к чему... Нет, Панкратыч не оставил бы зимовать тут свой катер...»

День уходил. За рекой на горе отсвечивал еще в низком солнце тусклый покосившийся крест на куполе старой церкви. С больших деревьев под церковью то взлетала с криками целая туча галок, то снова садилась, растворялась в темной паутине сучьев... Скучно все это было.

Стрежнев долго глядел туда, потом спросил:

– До сколько чайная-та?

– Не знаю, до восьми, наверно.

– Так хоть бы пожрать, что ли, да ночевать надо куда-то. А завтра, может, обратно машина будет.

– Пойдем... – безразлично ответил Семен. – Только надо бы сумки в трюм бросить, вороны растреплют...

Все, что привезли, они затащили в катер, замкнули. Потом поднесли поближе к корме винт, бросили его в снег и, отряхиваясь, пошли за реку в село, где возле церкви была чайная.

В чайной почти никого не было. Они взяли к ужину бутылку водки и по кружке пива. Сели возле окна и сверху долго глядели на просторное белое заречье.

Один-одинешенек среди снежной равнины, как ворона в поле, чернел их катер. Тенью обозначался занесенный на гривах кустарник, а в густую шубу бора четко, кусочком сахара, втискивалось побеленное двухэтажное здание – главная сплавная контора.

Стрежнев из тепла и уюта оглядывал мир, потягивал пиво... «Хорошо бы еще ни о чем не думать... – Старался он отвлечь себя размышлением о пенсии, о том, что ждет его вот такая жизнь – без суеты, в тепле. – Рублей восемьдесят будут давать, – подсчитывал он, – картошка,

грибы – все свое. Хватит. И не надо больше трепать нервы, кланяться кому-то, ездить...» И он снова взглядывал в окно и почему-то сразу же видел квадратный белый домик конторы, и становилось ему не по себе. Он поглядел на Семена, стараясь угадать, о чем думает тот.

Семен оторвался от окна, вздохнул:

– Завтра звонить будет.

И он кивнул за реку на домик. Стрежнев понял, да и сам знал, что начальник не сегодня завтра обязательно будет звонить в главную контору, спрашивать, как приступили к ремонту «девятки». И он удивился, почему это его волнует, но ничего не ответил Семену, а встал и принес от прилавка еще одну бутылку, чтобы ни о чем больше не думать – все, все забыть!..

Скоро не стало видно ни катера, ни домика, – сумерки сгущались. В робком свете чайной не очень отчетливо различали они уж и друг друга. Но зато на душе у обоих будто порассветало.

В чайной прибавилось народу, и им казалось, что за всеми столами шумят, пьют, курят спорят о чем-то пустом, не дают им поговорить о важном.

Думалось, выпили мало, и Семен сходил еще за пивом. И тут уж оба враз закурили и больше ни на кого не глядели, никого не слушали.

– Тридцать навигаций, Семк!.. – с искренними слезами в голосе рычал Стрежнев и бухал по столу тяжелым кулаком. – А он, гад!.. «Пятерку» угробил! Рулевое, отопление... все переделали, устроили, и отдал... Э-эх, все рушится!

– Нет, ты скажи, я – так?.. – не слушал его Семен. – Я штаны на движок когда вешал? Как Треплю?..

Откуда-то появилась женщина в белом переднике. Стрежнев, уже совсем не помня себя, ухватился за этот передник, потянул на свободный стул:

– Садись! Сейчас пить начнем...

Официантка стукнула его по руке:

– Налопались! Выходите... Ну?! Закрываем...

Они были удивлены и обижены, что снова каким-то образом очутились на улице, в темноте.

Долго ходили вокруг чайной, придерживаясь за бревенчатые стены, ругали начальника, искали дверь, но почему-то она оказалась с другой стороны и была закрыта.

Семен задумался, глядя на окна, и тут понял:

– Света-то нет, чего стучишь...

И они двинулись под гору. Бежалось легко – только успевай... По очереди падали, смеялись друг над другом, и Стрежнев все думал о Семене: «Вот нарезался!»

Потом уж в сплошной темени побрели рекой. Потеряли дорогу, искали, искали – плюнули и пошли напрямик, на огоньки.

Брели долго, а поселка все не было. Но вот впереди что-то зачернело. Большое, непонятное.

– Николай, подожди-ко. Кто это? – испугался Семен, потянул за рукав Стрежнева.

– Не шевелится, может, баня?.. Поселок должен быть.

Они осторожно приблизились и вместо бани увидели судно.

– Катер какой-то... Откуда? – удивился Семен.

Приглядываясь, обошли кругом, оба ничего не понимали. Враз запнулись за что-то, упали друг на друга.

– Так это наш, Семка! И винт вот, «девятой»...

– Давай в нем заночуем!

– Валяй!.. Мне этот гроб во век не нужен. Пошли, чай, вот дорога рядом. Теперь не собьемся, а то в логах потонешь.

Выбрались на твердую дорогу, отряхнулись.

– Стой, стой... Дождись, – сказал Стрежнев катеру.

– Пусть тебя Трепло лечит, на нас не надейся! – подхватил и Семен. – Вот снег посойдет – в Тюмень двину. Там сплав молодой, специалистов нет, рыбы много... Катера новенькие – любой бери, и платят не как здесь...

И вдруг запел:

Маши-иы не хо-одят туда-а,
Бегу-ут, спотыка-аясь, оле-ени...

Стрежнев даже остановился: за шесть лет ни разу не слышал, чтобы Семен – и запел.

Тяжелая погода

1

Стрежнев проснулся от жары и жажды. Он увидел над собой потолок из крашенных белых реек, потом белые стены – тоже из реек. И тихо. Подумал: «В больнице... Плохо дело. Чем же болею? Тяжко. И палата чудная – навроде каюты».

Повернул голову – увидел Семена. Нераздетый, тот лежал на кровати. «А я почему на полу, кровать рядом, и ножка вот... Да что под боком-то мешает? А-а... шапка... Так что же мы с ним наделали? Почему так погано?..»

Нет, не мог уже вспомнить Стрежнев, как вчера в глухую полночь, пришли они на огоньки брандвахты, оба в снегу, и стали стучать в каждую каюту подряд. Искали начальника, Гришку Трепло, официантку из чайной. Грозилась оба завтра же уехать в Тюмень...

Шкипер брандвахты, Федор, узнав обоих, привел их в отведенную им по звонку начальника из затона каюту, стал урезонивать, но они вскипели, совали ему в нос трешницу, требовали, чтобы сейчас же была бутылка.

И Федор сдался, забрал деньги, пошел и выключил на всей брандвахте свет, а потом потихоньку вернулся, закрыл их каюту на ключ.

...Наконец кое-что Стрежнев припомнил. Спать ему больше не хотелось, но не хотелось и вставать. Опять навалилась прежняя тоска, безвыходность – еще больше.

– Семен!

– Ы-ы...

– Ты чего не раздеваешься?

– А я... в Тюмень.

– В Тюме-е-ень... – передразнил Стрежнев. – Время-то сколь?

Семен с трудом приподнял руку.

– Десять.

– Утра или вечера?

– Чай, утра.

– Та-ак... магазин с десяти?

– С одиннадцати, а ты чего на полу валяешься? Вон кровать-то...

– Берегу.

Семен, чтобы скрыть улыбку, отвернулся к стене. Скоро он снова забылся, а Стрежнев лежал, думал: «Плюнуть на все, кое-как до навигации проболтаться тут, а там один месяц останется. Хоть и в матросах так прохожу». Через полчаса он опять спросил:

– Семен, глянь, сколько...

– Половина десятого.

– Ты что? Пятятся они у тебя, что ли?!

Семен молча протянул ему руку. Было полдесятого.

Снаружи кто-то пошарил по двери, потом хрустнул в скважине ключ, и вошел шкипер. В валенках, ватных штанах, в рубахе навыпуск, с лещом под мышкой и бутылкой в руке, Федор остановился в дверях, бодро крикнул:

– Подъем, студенты! Распохмелять буду...

Семен со Стрежневым, слушая шкипера, хмыкали, смущенно улыбались и качали головами, которые опять начинали тяжелеть.

И за окном была тяжелая погода! Шел дождь, с ветром, и старые ели на берегу намокали, лениво шевелили грузными лапами и все шумели, шумели...

– Дождик... – раздумчиво сказал Семен, глядя на ели. – До берега не прогуляемся?

– В валенках, что ли, по воде-то? – мрачно ответил Стрежнев. – Сапоги-то где? В катере... – И вдруг обозлился: – А в гробу я это дело видел!

Он курнул напоследок два раза и с каким-то наслаждением ввинтил окурок в глаз лещу, от которого осталась на столе только голова. Потом он слезил в карман, прихлопнул по столу тяжелой ладонью, что-то пряча под ней, загадочно глянул на Федора, потом на Семена, двинул руку на середину, к рыбной кучке, и открыл. На столе закорчились, как осенние листья на огне, три смятых рубля. Семен молча прекратил их страдания: сгреб к себе в карман, спросил шкипера:

– Рыбу сам солил?

– А кто ж? Бабе не доверяю. Принести ишо, што ли?

– Ну... вишь, в магазин собираюсь. Чай, на закуску не тратиться. Выбери там пожирнее. Нагулянного...

– А погляжу, – охотно согласился Федор. – Один есть, холостой, весь в жиру – с хвоста каплет. Бабе не кажу. В трюме за шпангоутом висит. На случай... Да что балакать. Э-эх, Колюшка! Али не вместе плавали? Другому бы... А тебе ничего не жаль. Помнишь, как тонули? В затоне-то... Ха-ха-ха!...

Семен вернулся скоро, с оттопыренными карманами.

И снова сидели. Федор рассказывал, как тонули в затоне.

Дело давнее. Стрежнев тогда только что получил первый свой катер – тихоходный, газогенераторный – на чурках еще работал. Матросил и кочегарил Федор, а механиком был Илья – теперешний главный механик сплавной конторы.

– Ну, на запани работали, – рассказывал Федор, – повезли рабочих. Высаживать приставали в Угорье и в Верхнике. В общем, разгрузились под ночь. В затон полным ходом валим: гулять опаздываем. Слышу: «Бум-м!..» – чуть за борт не ссунуло. На что-то напоролись: затон-то какой был, не как теперь. На дне всякого черта найдешь. Гляжу – заваливает – проломилась, тонем... Николай к берегу, а уже корма осела. Илюшка из машины сусликом выскочил, кричит: «Заливает!»

Движок глохнет, а нам и горя мало, вышли все, на палубе обнялись и орем: «На-ве-ерх вы, то-ва-арищи...» Колька в тельняшке, а мы так и не разделись. Любо дуракам, молодые – весь затон с берега глядит. Э-ах, да что!.. Тогда не то было. Ну чего, давайте ишо?.. Рыбы надо?

В этот вечер Федор еще три раза лазил с фонарем в трюм за «последним» лещом, а Семен, придерживаясь за пиллерсы, его провожал – «кабы не заронил»...

Стрежнев все больше угрюмел и все больше пил. Он и сам не понимал, что делает и зачем. Саднила ему душу тоска, обида, обезличка со стороны начальника. Не привык он к этому.

2

И было еще утро.

И опять не легче. По-прежнему шел дождь и по-прежнему астматически тяжело дышали возле брандвахты ели.

– Скоро подморозит, – успокаивал Федор. – Ишо утренники будут – я те дам. Так при-
сандалит – не отдерешь. Успеете...

Стрежневу было все равно. Однако с утра послал он Федора в контору, походить там по коридорам – так, потихонечку послушать – не звонил ли начальник. «Уж звонил, так скажут – донесется», – думал он.

И Федор ушел. Вернулся он не скоро, но весь сиял.

– Что весел? – приглядываясь, спросил Стрежнев. – Не звонил?

Федор загадочно усмехнулся, сказал нескоро:

– Звонил... в село, дочке. Внук у меня родился. Как ждал!.. Обмыть бы надо? – и он вопросительно глянул на Стрежнева.

– Говорю, из затона что? В конторе был? – не унимался Стрежнев.

– Да не мутись ты, кому вы больно нужны. Как в мох впало! Все по кабинетам пишут, только щеты хлопают: рубь вам, два нам!..

Стрежнев успокоился, по-новому оживился, заерзал, а Семен поугрюмел, как-то вражески, искоса глянул на бутылку портвейна, принесенную Федором, устало вздохнул. Однако придвинул стакан поближе к середине стола.

– Ведь это надо ж! – ликовал Федор. – Прямо к навигации со стапелей сошел. Это не зря!.. На капитана учить будем. – И снова вскочил из-за стола. – А подожди-ко, подожди-ко, студенты...

Он вышел и скоро вернулся, неся в руках трехлитровую банку грибов:

– На-ко, раскрывай! По такому случаю...

– Груздки! – осведомленно отметил Стрежнев, сидя во главе стола. – Это гриб царской...

Ты, Семен, на мотоцикле-то много, чай, навозил нынче? – Хоть чем-нибудь старался отвлечь себя Стрежнев от липких и тяжелых, как грязь, дум. Он выжидательно глядел на Семена.

– Много не много, – Семен пошевелился на стуле, – а из-за этих груздей в лапы медведю чуть не угодил.

– Да ну?! – еще больше оживился Федор. – Как это?

– А так... – Семен, будто приберегая, поотодвинул стакан. – Едем, значит, с Аленкой. Нагрузились – ничего. Она сзади держится. Валим! Гляжу – впереди медвежонок ковыляет, смешно-ой... Я газку, а он – на рысь и с дороги не убегает. Забавно так, го-оним... Оглянулся – а, мать честная!.. Сзади медведица чешет, нагоняет уже! Кричу: «Держись!» А жена-то обернулась, да как заорет. Охватила меня за горло, сжалась вся, трясется, вот-вот сгребет ее сзади, перехватила мне глотку, аж в глазах потемнело. Мотаю головой, кричу: «Отпусти, врежемся!» Ну, думаю, не дай бог, заглохнет... Насилу оторвались.

Федор хлопнул себя по коленкам, чуть не упал со стула, вскочил, полотенцем стал вытирать глаза.

Стрежнев зашелся беззвучно, только дергался его живот, отчего и стол дергался. Семен скорее схватил стаканы и держал их на весу, пока капитан отсмеется.

Им было спокойно на этой брандвахте. Хоть и стояла она под окнами главной конторы, но сюда никто не заходил. Всю зиму на ней размещались конторские кабинеты: саму контору ремонтировали. Лишь с неделю, как служащие со всем своим хозяйством снова перебрались на берег, и Федор остался один, ждал весны, чтобы идти на буксире в затон ремонтироваться. Жена к нему из затона приезжала редко, кочегары к весне уже разбежались, остался один, из Сосновки. За отопительным котлом глядел Федор сам и, конечно, получал кочегарские.

И вот неожиданно-негаданно явились свои – затонские! Насидевшись, как сыч, один, Федор теперь был так рад! А тут еще и внук подоспел.

Рад был Федору и Стрежнев. За этим застольем поотошел он душой, подобрел, будто вернулась вдруг прежняя бойкая, веселая жизнь.

– Вот поокрепнет, пойду глядеть, – мечтал Федор о внуке. – Эх, жись, ты, жись!.. И когда прошла, вот восьмой внук уж. И все не дома, а этого не отпустим, наш! – И поднимал глаза на Стрежнева. – Говоришь, все? На берег?.. Унесла наши годочки река! Сколь осталось-то?.. Два месяца. И мне – три только, ведь годки мы с тобой. Вместе будем теперь окуней-то ловить, внуков приглядывать. Как глаза-то, ничего видишь?

– Да вроде не хуже.

– А так до Макарья бы и сплавал с тобой. Уж больно любо! Эх!.. Первый рейс, в деревнях на берег выходят, глядят. А в Макарье!..

И Стрежнев, слушая Федора, сам вспоминал, как на вторые, а то и на третьи сутки, пробиваясь сквозь ледяные заторы, приходили в старинный город Макарьев с огромным монастырем на горе. Давно это было, а виделось – как вчера.

У высокого берега уж стояло много самоходок, буксиров, барж, пришедших в Унжу с Волги. Обычно здесь пережидали, когда очистится в верховье русло, чтобы идти дальше следом за волжским караваном.

Бывало, простаивали и по три, и по четыре дня: то река льдом забита, то воды мало, то туман прихватил... Здесь же у берега заканчивали спешный ремонт. Перелезали через леера соседних катеров друг к дружке, выслушивали вместе двигатели, а потом гадали, какова будет вода, где какой ожидается сплав, кто куда на своем катере идет.

А к вечеру на каком-нибудь волжском буксире включали радиолу. Она заглушала грачей на старых березах по угору. И тут, под березами, на сырой и холодной луговине, начинались танцы. Макарьевские девчонки все вываливали на берег – и до утра крутилась, страдала томным голосом радиола. А дальше она не смолкала уж и днем, пока вся «флотилия», загудев, заработав винтами, не отходила на стрежень – снова подвигалась к верховьям вплоть до самых мелких речушек, – многих притоков Унжи.

Прощались, долго выли сиренами, махали с угора и с катеров...

А недели через две-три спускались поодиночке катера вниз. И опять были под высоким берегом встречи, но теперь без музыки, мимолетные и не всегда веселые, а часто с выговорами, со слезами... Радость не живет одна.

Случилось, из такого вот рейса, приглядел, привез себе Стрежнев и жену – молодую наивную «макарешу» Аню.

И стала она плавать с ним на катере матросом. Долго не могла привыкнуть, не спала по ночам: все казалось, катер относит от берега; колола буксирным тросом руки, глохла от двигателя... Но к концу первой же навигации обтерпелась, научилась стоять за штурвалом, читать судходную обстановку.

Потом подкатила война.

И осталась Анна на катере сама хозяйкой. Навигацию плавала за капитана, тянула, думала, скоро отвоюется, вернется...

Возвратился Стрежнев через пять лет. Цел, невредим, лишь слегка обгорел в танке. И снова – река. В затоне появились новые катера – дизельные, а Стрежневу, танкисту, не надо было и переучиваться. Вскоре подрос сын Игорь, заменил мать – стал по летам матросить у Стрежнева... И вот уж семь лет, как закончил водный институт, инженер. Теперь и последняя, Нинка, врач вон. «А я, значит, – пенсионер. Да неужели?! И когда все прошло? Э-эх-ма...»

3

А мороза все не было.

На третий день вспомнили Стрежнев с Семеном о своих рюкзаках с продуктами, погребенных в катере, расстроились: в оттепель могло все испортиться.

Стрежнев набросился на Федора:

– Ну, что, ворожея, где твои морозы?

– А сам не понимаю. Гляди, как взбесилось – льет и льет...

– Льет... Время ей, видно, лить-то. Чего стоишь, давай хоть какие-нибудь опорки, да чай, идти надо, пропадет ведь все! – раздражительно ответил Стрежнев. Теперь, с похмелья, стало еще тошнее. «Глаза бы не глядели на эти речные переборки. Хоть уйти от них к черту скорее», – думал он.

Федор молча повел их в кладовку.

Одна пара резиновых сапог нашлась сразу. Сорок пятый размер. Стрежнев, не стирая с них пыли, тут же стал переобуваться из валенок. Семену не повезло: попался всего один сапог на левую ногу, да и то с оторванным голенищем – наподобие женского бота. Перерыли всю кладовку – другой сапог как провалился.

– Подожди-ко... – задумавшись, сказал Федор и ушел.

Он пришел в кочегарку, нащупал и вытащил из-за котла ссохшийся, в паутине, кирзовый сапог, помочил его под краном, подергал за голенище – «обмякнет» – и понес.

– На! – как поленом стукнул сапогом возле ног Семена.

– Хуже-то не нашел, – обиделся Семен. – А второй где?

– Вона, – указал Федор на «боту». – У меня ведь не склад.

Семен вопросительно поглядел на Стрежнева. Но тот, не замечая, встал, ловко притопнул надетым сапогом, озорно спел:

Эх, теща моя, хуже лихорадки:

Щи варила, пролила зятю на запятки!..

И после этого с серьезным видом сказал Семену:

– Не надевай, иди в валенках – мягше!

Семен понял насмешку, сопя, подобрал опорки и пошел переобуваться в каюту.

А Стрежнев все похихатывал у шкипера. Кинуло его в другую крайность: решил он на все глядеть проще, жить так, спустя рукава.

* * *

Ближе к полдню, поминутно сбиваясь с раскисшей ненадежной дороги, брели они обнаженными гривами к катеру, оглядывали вокруг все новое, вытаявшее, поражались: «А-яй!.. Вот так осадило!..»

Сугроб возле катера съезжился, с солнечной стороны обтаял до луговины, и теперь было на виду все поржавевшее, оскобленное, со множеством вмятин днище. Катер лежал брюхом на четырех поперечных подкладках – бревенчатых, впившихся в луг шабашках.

– Чего он на нем делал? – сказал Семен, обходя катер. – Будто по камням ездил.

– За запанью все лето работал. В бревнах без ума-то любой катер ухойдакаешь.

Семен, кряхтя, слазил в машинное, выставил на палубу мешки. В трюме было, как в холодильнике, и ничего не испортилось. Обрадовавшись, они уселись, как и три дня назад, на вытаявшей теперь осине и стали есть домашний харч – жареную рыбу, сало... – все, что поспешно собрали им в дорогу хозяйки.

– Надо хоть мачту направить да такелаж натянуть, – подобрел от домашнего сала Семен. – А то нехорошо: с дороги видать.

– Это можно, – согласился Стрежнев и с куском хлеба пошел к катеру. Он присел на корточки, разглядывал. И вдруг отложил кусок на снег, а сам нагнулся ниже, потом лег на спину и, что-то колукая ногтем в днище, прополз от носа чуть ли не до середины катера.

Когда вылез, молча вернулся на бревно. И сел растерянный, будто чего ему не хватало. Так и не вспомнив о куске, он полез за сигаретами.

– Ты чего?.. – перестав жевать, удивленно глядел на него Семен.

– А ничего... хорошо.

– А чего?

– Чего, чего!.. – вдруг закричал Стрежнев. – Иди погляди чего. Во все днище щель! Вот чего!.. Хоть пальцы суй почти от форштевня и до середины рубки!

Семен без аппетита проглотил, задернул тесемку мешка и как-то странно, долго глядел на катер, будто его не было и вот он вырос из-под земли.

– Та-ак... – произнес он наконец и снова развязал мешок. – Так ведь утонем?!

И поглядел на Стрежнева – словно искал у него спасения.

– А ты думал, всплывешь!.. Это тебе не чурка. Ну... Ни котельщика, ни сварщика! Что, чего?.. «Поезжайте в Сосновку!» Сейчас – по шучьему веленью! Приезжай парад принимать! Жди... – И вдруг повернулся к Семену. – Ты все, что ли, съел?

– Да нет, есть еще...

– Так подожди, не мни. Надо хоть за пивом дойти... Беги до чайной?

– Не пойду. Голова – шагу не ступить, как из ружья отдает! Насилу дошел.

– Эх, тюлька!.. Сиди тогда, отогревайся. Сейчас сброжу. Да хоть переобуйся! Сидишь, как нищий. А то увидят, от катера-то прогонят. Скажут, украсть чего вздумал, пристроился...

Когда Стрежнев ушел, Семен тоже лег под днище и, кряхтя, охая, пополз на спине от носа к корме, разглядывая тонкую зловещую трещину на светло-рябом от ржавчины киле. Полз, пока не уткнулся шапкой в деревянную шабашку поперек днища. Остановился, вздохнул. Подумалось: «Так бы и умер прямо вот под катером...»

Плохо было дело. За восемь лет, которые Семен отработал в транспортном участке, не приходилось ему еще так ремонтироваться. И катер был плох, и условия плохи, и настроение плохое. А в затоне бывало все по-другому: там тебе любой цех, любой специалист – все заварят, выточат, только успевай оформлять заявки!

«Нет, уеду в Тюмень, вот только до лета... – опять пришло ему в голову. Прикинул: – Там получу свой катер, буду без Стрежнева, сам хозяин».

Он сидел на осине, глядел за реку, ждал Стрежнева. И было ему так гадко, что не хотелось даже курить.

Над катером на столбе электролинии надсадно орала ворона. Она надувала зоб, горланила отсыревше, хрипло. Семен обернулся к ней, но ворона не переставала, хотя ветер и поднимал ее серый воротник.

– Чему радуешься, курва? – сказал ей Семен мрачным голосом и отвернулся. Хотел кинуть палкой, но близко ничего не было, а вставать не хотелось.

Наконец с того берега кто-то спустился к реке, и Семен стал следить. Но походка была не Стрежнева.

Подходил какой-то парнишка лет четырнадцати, с ружьем. Не останавливаясь, он воротово поглядывал то на Семена, то на ворону.

Семен понял его, кивнул на столб:

– Ну-ко, щелкни...

И парнишка обрадовался, хищно изогнулся, подкрадываясь из-за катера... От выстрела он дернулся, а ворона смолкла. Посидела еще немного, будто раздумывая, лотом взмахнула крыльями и над головами у обоих лениво направилась за реку, заорав еще громче.

Семен только сплюнул между опорков, на стрелка даже не оглянулся и опять равнодушно уставился за реку.

Пришел Стрежнев. Выпили пивца, поели еще из мешков, всласть покурили. Блаженно сделалось подновленной душе на вольном берегу. Хоть и много вокруг было еще снега, но уже дивно, зовуще попахивало отпотевшей луговиной.

Было еще далеко до вечера, и брести снова в душную каюту обоим не хотелось.

От безделья, растягивая время, они не спеша поправили покосившуюся рею мачты, натянули антенну, а больше вроде и делать было нечего. Поэтому собрались все же домой, но неожиданно хлынул такой дождь, что оба бегом заскочили в рубку.

– Хоть стекла пообмоет... – сказал Семен, глядя в пестреющие гривы. – Сейчас пронесет.

Но дождь не переставал, будто нарочно держал их в ненавистном катере, и оба боялись – не пришлось бы ночевать здесь. Однако об этом молчали.

Становилось сумеречно и неуютно в неприбранной холодной рубке.

– Хоть свет бы подключить, – сказал Семен, – все повеселее будет... Пошли?

Стрежнев поморщился. Когда подключили освещение, в машинном стало еще безобразнее: все просило, требовало уборки. Оба скорее вернулись в рубку.

Семен встал за штурвал, включил, проверяя, все ходовые огни, завыл сиреной, засмеялся:

– Поехали... давай отмашку!

– Теперь нам только по суху и ездить, на воде-то утонем, – сказал Стрежнев.

На брандвахте, когда они раздевались, прилаживали к батарее мокрые фуфайки, вошел к ним Федор, сказал:

– Приехал.

– Кто?! – испугался Стрежнев. – Сам?

– Нет, линейной... Был здесь. Завтра, сказал, с утра к вам на катер пойдет.

– А начальника нет?

– Нету.

– Ну, а чего этот говорил?

– Да больше ничего, вот только так и сказал.

Сняв один сапог, Стрежнев задумался: «Эх и дураки, начали пить. Надо было сразу уезжать. Теперь что? Ведь топить эту калошу не будешь, – всем затоном просмеют! Анне и то не дадут проходу. Погода-то вона что! Не успеешь оглянуться – лед затрещит... Ведь он, сопляк, ничего не понимает, только приказы чиркает: «Поезжайте!..» Хоть бы спросил, посоветовался... И не звонит теперь. Спуска-ать... А трещина? Неужели они не знают, дотянули до какого времени. Ведь заваривать надо, в затон и то не уведешь так-то! Какое уж тут плаванье.

Разговор на высшем уровне

1

В восемь утра они были возле катера. Сидели на осине, ждали линейного. Внизу по реке потюкивали топорами сплавщики – подновляли к весне боны. День разыгрывался веселый: в солнышке, в блеске – любованье! Игрушкой посверкивал за рекой крест на церквушке. Было слышно, как там в березах и липах возбужденно орали, делили что-то грачи.

А ниже, по широкому скату угора, выбирая где поположе, осторожно кочевало по снегу от одной вытаявшей проплешины до другой колхозное стадо.

– Что-то он коров-то рано нынче выгнал, – вслух подумал Семен.

– А закаляет!.. – пояснил Стрежнев, а сам думал: «Может, теперь-то вот и можно вернуться в затон? Благо – причина есть...»

Пришел линейный. Он показался им маленьким, щуплым. Был в узких брючках и высоких с загнутыми голенищами сапогах. На голове – черт-те что: не то шапка, не то фуражка, что-то с козырьком. Однако, здороваясь издалека, он глянул из-под белесых бровей, из-под этого козырька так цепко и настойчиво, что Семен невольно подобрал ноги. Без перчаток – руки в карманах куртки – был он весь так пружинисто подобран, так ловко на нем сидели и курточка, и эта странная кепка, что, казалось, век он в них ходит, ни в чем другом больше не бывал да и быть не может.

«Востер», – отметил про себя Стрежнев и достал новую сигарету.

Механик, не вынимая рук из карманов, медленно, большим кругом обогнул катер, приглядываясь к нему, остановился возле носа, попробовал каблуком луг, задрал голову – зачем-то оглядел столб и провода над катером; потом присел, стал разглядывать вмятины на корпусе, переходил от одной к другой...

Семен и Стрежнев следили за ним, сдерживая улыбку.

– А ты подальше, подальше полезай. Не бойся, не измарашься! – наставительно посоветовал Стрежнев.

Но механик поковырял циркулем во вмятине и, не глядя на них, подошел, сел рядом. Закурил тоже.

– Ну, что за эти дни поделали? – сказал спокойно.

– Не видать? – осторожно спросил Семен.

– Как зимой было, так и теперь... Кроме мачты ничего не вижу. Скажи, капитан?

Но Стрежнев насупился: за тридцать лет на реке никогда еще не записывали его в лодыри. Под, конец угодил. Да и выговаривает-то кто. Парнишка! И пусть линейный был прав, но казалось Стрежневу, что они там тайно сговорились с Чиловым и оба ехидно измываются над ним напоследок. Вспомнилось, как уезжал, и опять пожалел, что вгорячах забыл, не прихлопнул по столу перед самым носом у Чилова медицинской справкой, что лежала в кармане, не ушел сразу домой. Оплошал!.. А теперь уж поздно. Расхлебывайся вот. Но он решил еще пока не сдаваться: «Вы хитры, а я тоже не лыком шит».

– Я вам эти дни прогулом поставлю, – все так же спокойно сказал механик.

– Да?.. А ремонтировать сам будешь? – очнулся Стрежнев.

– А вы что, гулять приехали?

– Ну и не ломить. Мы тебе не котельщики и не плотники. Людей давай, а потом покрывай.

– Так вы что, готовую баранку настроились крутить? Сидели бы дома, ждали, когда лед пройдет.

– Ищите с Чиловым хороших, раз мы не годимся... Только не забудь пакли им выписать, днище-то хоть проконопатят, – сказал и отвернулся Стрежнев.

Линейный насторожился, часто замигал, соображая.

– Какое днище?..

– А иди, погляди, какое.

Механик нерешительно встал, медленно пошел и лег под катер.

Оттуда он вылез совсем другим, обмягшим. Снова обошел вокруг катера. Стрежнев в это время наклонился к Семену, спросил потихоньку:

– Как его дразнят?

– Олег вроде.

– А по батюшке?

– Не знаю...

Линейный задумчиво сел на осину, спросил уже без запала:

– Так что будем делать?

– А вот решайте, вы инженеры, – ответил Стрежнев.

– Дубляж придется ставить.

– Валяй!.. Инспектор Регистра хоть крапивы тебе в штаны сунет.

– Почему?

– А вы инженеры, лучше должны знать, где можно, а где нельзя заплатки лепить!

– Н-да-а...

Помолчали.

– Вот что, Олег Батькович, – начал солидно Стрежнев, – зря не кипятись, а давай толком... Иди, значит, к главному инженеру да узнай, может, не стоит и ремонтировать-то.

– Как это?

– А так... Ну-ко глянь, в ведомости-то записано ли.

Механик достал из грудного кармана тетрадку. Полистали. Ни в разделе «Корпус», ни в «Сварочных работах» о трещине не говорилось.

– Ну вот! – оживился Стрежнев. – Они и знать ничего не знают, а тут расхлебывайся. Пусть идут да смотрят сами, решают.

– Ладно, пойду уточню, – сдался механик. – Только что-нибудь делайте, не сидите. Что вы, на самом деле!

Стрежнев неопределенно хмыкнул, сказал негромко:

– Давай беги, беги... – а сам подумал: «Пусть побесятся, не одним нам «сладкая жизнь»...»

И Олег, как-то неестественно избочившись, пошел по дороге через гривы к далекому белому домику, выглянувшему из бора.

– Ну что, давай хоть винт собьем, что ли, – сказал Семен. – Привезли, так заменить надо...

– Да куда ему винт, на берегу-то!.. Хотя давай. А то и взаправду прогулы поставит – в затоне кто-нибудь обрадуется. Найдутся...

Не скоро они сняли измятую изуродованную насадку, ограждающую винт. А потом до темна по очереди ахали осадистой кувалдой по бронзовой болванке, упертой в ступицу винта. Один держал эту болванку, другой бил. Потом менялись. Оба часто дышали, взмокли, но не отступались.

Ушли только после того, как винт тяжело шмякнулся на вяло осевший, будто вздохнувший луг.

2

На другой день линейный пришел вместе с главным. Они кругом оглядели корпус, после этого главный снял свое короткое пальто, протянул его Стрежневу, шутливо приказал:

– А ну, раздевайся, давай меняться!

От его шутливости, легкодушия стало покойнее, проще, и к Стрежневу будто опять на миг вернулись прежние времена.

Надев стрежневскую фуфайку, он заполз под катер, долго изучал трещину, совал в нее щуп, потом попросил молоток и стал выстукивать все днище.

– Мел дайте! – крикнул он и выбросил наготове из-под катера руку. Поперек днища он провел черту, потом еще что-то там чертил, раздумывал. Затем крикнул линейного:

– Олег Павлыч! Смотрите... Вот досюда варить швом, а дальше – вот я обвел – заплатку, дубляж. Только варить, чтоб комар носа не подточил. Ясно?!

– Понимаю.

– Вот так, братцы, – переодевшись, сказал главный и поглядел на Стрежнева. – Другого выхода у нас нет. В водохранилище и за запань посылать не будем, а так, на перевозе, пока побегает. А там – увидим... Только за сваркой следите, чтобы как влито было. Халтура здесь не пойдет. Значит, Олег Павлыч, снимайте размеры и марш в затон – заказывайте дубляж. Вези с

собой хорошего сварщика, котельщиков... Ток есть. – И он кивнул на столб. – Аппарат можно взять здесь, в гараже, чтобы не таскаться. Действуйте!

Он попрощался со всеми за руку, отряхнул свое пальто и ушел.

Линейный тут же залез под катер снимать размеры.

А Стрежнев с Семеном отошли к корме, стали разглядывать гребной вал, с которого вчера обили винт. Хоть в душе и упрямылись они оба, а все же заразил их главный своей непринужденной деловитостью.

– Придется поднимать, – сказал Стрежнев Семену, – гляди что делают! Теперь не отвяжешься. – И добавил громче: – Олег Павлыч, лес надо. Из чего клетки-то рубить?

– Вон мужики боны рубят. Сходите к ним, дадут вам пять-то бревен, – ответил линейный из-под катера.

– А нести на спине?

– У них трактор каждое утро работает. Попросите, притащит.

– Нет уж, иди сам проси. Я Христа ради кланяться не буду.

– А я, как? Заявку вам буду оформлять из-за пяти-то бревен, пороги в гараже обивать!

– А чего тебе делать. Обивай... – дразнил его Стрежнев.

Механик вылез из-под катера, уверенно подошел к ним вплотную.

– Вот что! – сказал он неожиданно построжавшим голосом. – Вы не одни у меня: в устье Луха две сплочные машины стоят, баржи, брандвахты... потом лебедки. И там люди, у всех работы не меньше, чем у вас! Делайте и ничего не ждите. За вас никто не сделает!.. Сейчас иду оформлять вам требования на краску, на запчасти к двигателю, на электроды... И сегодня же надо успеть в затон, заказывать дубляж... Дождетесь, затопит, как разбитое корыто!

Сказал и ушел.

– Вот так, господа-начальство! Возьми с них. Ну, что? – сказал Стрежнев и поглядел на Семена.

– А что? Придется делать, – отводя глаза в сторону, неуверенно сказал Семен, не зная угодил или нет Стрежневу. Стрежнев понял его по-своему:

– Да, нечего, видно, и ждать... Э-эх-ма-а – Ба-лахна-а!.. Засучивай рукава! Ну, пойду, до мужиков, бревна погляжу да о тракторе узнаю. Чай, одна контора – дадут. Так, брат, стали на якорь... «Поезжайте в Сосновку...» Ну, ладно. На клетки подниму, спихну на воду и досвиданья. Да и тебе тут нечего коптеть. Езжай, пока молодой... – сказал Стрежнев, а сам еще так и не знал, долго ли провозится с этим катером.

Теперь они как будто настроились – работали каждый день.

И только тут увидели по-настоящему, как много предстоит всего переверочать. Надо было чистить, мыть и протирать насухо изнутри днище, где намечалась сварка. Но чем протирать? Обтирки не оказалось. Ладно, для этой цели пустили в расход рваные штаны бывшего механика. Потом, взяв по рукаву, с наслаждением разодрали и его фуфайку. Спустили из топливных баков остатки солярки.

Предстояло ехать за бревнами, доставать домкраты, уголь, искать кисти, обтирку, струбцину, посуду под краску и олифу, выправлять леера, полосы винтовой насадки, заказывать новые болты и гайки для их крепления...

Много всего надо было, ум за разум заходил.

И будто решив обогнать их, повсюду торопилась весна. Гора за рекой оголилась вовсе, и коровы там целый день грелись на солнышке, подолгу глядели через реку на катер, словно бы думали, успеют отремонтировать его к навигации или нет. А Стрежнев с Семеном в короткие перекуры глядели на коров и тоже гадали, дотянут те до свежей травы или нет.

Река между тем на глазах менялась: на белой ее хребтине с каждым утром все больше появлялось болезненных чугунно-тяжелых пятен, будто кто бил ее по ночам, оставлял синяки. К полдню эти пятна расплывались все шире, подкрадывались один к другому, сливались.

Стрежнев теперь не думал ни о затоне, ни о начальнике, ни о своей жизни. Все как бы отложил «на потом». Не хотелось по пустякам бередить и так больную душу. Сейчас важно было хоть как-то залатать и покрасить днище, столкнуть катер на воду, а там, видно будет... Допустить же, чтобы катер утонул, Стрежнев не мог – смеху не оберешься на весь затон, до конца дней...

Однако всякую работу Стрежнев любил делать степенно и добротню, со спокойной душой, как бывало в затоне.

Но сейчас этого-то покоя как раз и не хватало. Все не под руками, не устроено – все не ладилось!

Когда привезли бревна, оказалось, что их нечем пилить. Обшарили все трюмы, машинное отделение, заглянули даже под слани, но нашли только ржавый топор-тупицу, который Стрежнев молча тут же запалил с палубы в гриву.

– Придется опять мужикам кланяться, – сказал Семен.

– Нет уж, иди ты, проси, – ответил Стрежнев. – Я настрадался, хватит.

Пилу мужики дали, но только на два часа, велели принести.

– Что я дизель, что ли, – недовольно сказал Стрежнев, берясь за ручку. – Два часа...

Семен, как паук, раскорячившись кривыми ногами и упершись левой рукой в бревно, пилу таскал молча, стойчески. Только сопел. А Стрежнева брала одышка. После каждого пере-пила он распрямлялся во весь свой большой рост, утирал шапкой пот, говорил:

– Подожди, дай вздохну.

И Семен молча ждал.

Они испилили два бревна, Стрежнев оглядел кучу катышей, сказал:

– А ведь не хватит, придется еще привозить...

– Ну, увидим, – ответил Семен. – Вон рекой-то кто-то идет.

– Так что, мало ли кто там ходит, давай... Он поправил ногой бревно, и снова начали таскать пилу, невесело глядя в землю.

– Эй, студенты! – послышалось с дороги. – Хватит дрова пилить: зима-то кончается.

Подошел Федор, уселся на катыш:

– Да что вы мучаетесь. Плюньте! Завтра я зам бензопилой враз раздерну. Собирайтесь, уж вечер, чай сегодня суббота.

– А ты что весел? – спросил его Стрежнев. – Гуляешь?

– Ходил в село, внука глядел. И жена там, приехала. Завтра сюда приплетется, на бренд-вахту. Пока дорога держится... Николаем назвали! Внука-то!.. Как тебя.

– Так велик ли народился-то? – польщенный, спросил Стрежнев, усаживаясь.

– А ничего... На руке подержал – так, с небольшого глухаря будет. Вот, взял за его здоровье.

И он вынул из-за пазухи четвертинку.

– Надо бы, конечно, большую, да уж поистратился, и так, говорят, хватит... В баню вот иду, думал, потом приму, напоследок, пока жены нет, да гляжу – дружки. стакан-от есть ли? Давайте по глоточку...

– Да ну-у, чего тут, – возразил Стрежнев, – только во рту поганить. Побереги... А в баню-то, Семен, и нам не мешало бы, уж корка, поди, выросла.

– А пойдем, – с готовностью ответил Семен.

– Конечно, пойдемте! – обрадовался Федор. – Я полотенца вам новые дам, веники у меня, как шелковые...

Отошла коту масленица

1

Неожиданно ударили те звонкие зоревые утренники, о которых говорил Федор.

Свежо и молодо было на подсушенном морозцем берегу. Ретиво взвизгнула на мерзлой сосне пила, и белые опилки веером полетели к черной скуле катера.

Стрежнев только успевал прикладывать к гладко-желтому боку сосны мерку. Федор нажимал на пилу, а Семен ногой придерживал бревно...

Все было кончено за каких-нибудь полчаса, еще коров не выгоняли на том берегу.

– Вот, это повеселее, – сказал Стрежнев, с чувством заслуженного отдыха садясь на катыш. – Давай теперь уж и топоры. Глядишь, скоренько и зарубы сделаем.

Федор отложил бойкую пилу, не спеша положил на катыш рукавицы, попрекнул:

– А вы ехали, о чем думали? Игрушки играть за двадцать верст притащились?..

– Да забыли впопыхах-то. Ведь собирались как!.. Не дал оглянуться, бегом отправил... – сказал Стрежнев.

Федор, осознавая свою заслугу, довольный, что пила сегодня не дала чиху – завелась сразу, не опозорила своего хозяина, – с достоинством принялся ругать их, но вдруг закончил:

– Конечно, дам! Пойдем кто-нибудь, чай, не маленькие, гвозди рубить не станете.

За топорами собрался Семен. Он молча взвалил на свой горб пилу и, не оборачиваясь, потащил ее поперек грив к брандвахте. Федор прогуливался сзади, налегке – этого ему как раз и хотелось.

На брандвахте нашлось два топора, но один был с завалом и в мелких зазубринах. Пришлось точить.

Федор, нажимая крепкой рукой на обух топора, вспоминал жену. «Это она, больше некому! Хорошо, хоть свой схоронил, а то бы и этот... Ох, народ!.. только и гляди. Вот опять заявится. Хоть под замком держи!»

Семен не останавливался и не слушал. Крутил и крутил рукоятку точила. Размеренно, долго, как машина. Работник он был безотказный. А Федор все ворчал, иногда щупал жало большим пальцем и вновь опускал лезвие на край точила.

* * *

Верно говорят: «Глаза страшатся, а руки делают».

Теперь они сидели на берегу и не спеша потюкивали топорами, подгоняли зарубы, выкладывали всяк свою клетку, метили короткие бревнышки, чтобы потом на месте, под катером, сразу без задержки можно было отыскать «родной», по зарубе катыш.

К Стрежневу незаметно опять пришло доброе ровное настроение: и топор был хорош – а во всяком инструменте Стрежнев знал толк, он не только плотничать, а и столярить мог – и бревна хороши, ровные – сам выбирал. Да и ругать их теперь было не за что. Да и некому. Линейный еще пропадал в затоне, а главный тоже больше не появлялся. До катера ли ему!

Так и работали пока одни.

В полдень на вытаявших гривах бродили вокруг них любопытные грачи, подходили поближе, наблюдали. Юрко сновали по свежей щепе скворцы, что-то выискивали там, старались заглянуть под низ щепок.

А река чернела, тяжелела, как перезревшая гроздовая туча. Теперь она вся была сплошь мрачно-синяя, и от этого даже на берегу стало как будто темнее, неприветливее. В полдень

кое-где на чумовом льду уж поигрывали, забились в солнечном блеске промоины, и возле этих промоин подолгу стояли в неподвижности вороны, будто собирались нырнуть под лед и все не решались, переминались с ноги на ногу...

Однажды утром увидел Стрежнев недалеко от катера возле дороги свежую с красными буквами табличку: «Проезд и проход запрещен».

– Шабаш, Семка, отрезало! – кивнул он Семену. – Теперь и в чайную не сходишь. Пост нам пришел.

– Да, отошла коту масленица. Видно, уж когда своим ходом...

Стрежнев слегка улыбнулся.

Однако изредка через речку люди еще ходили.

Наконец они кончили зарубы, сложили вокруг катера семь ровных клетов, полюбовались. Все было ладно. Разминая ноги, походили возле, прикидывая, как поднимать, где упирать домкраты.

– Щепок-то, как после путных плотников, – сказал Семен.

Вся луговина вокруг катера и вправду пестрела белой щепой, резко, скипидарно попахивало этой отходящей в тепле ядреной древесиной.

Теперь надо было добывать где-то домкраты, нужны были люди крутить их... Но где возьмешь?

Линейного все не было, не было никого и из главной конторы. И вдруг пришел председатель месткома Горбов.

В тяжелом длинном пальто с широким каракулевым воротником шустрый Горбов быстро прошел мимо катера, не взглянув на него. Сунул обоим руку, спросил:

– Ну, как, братцы, лечим или калечим?

– Тяжело с лечением-то, Андрей Семеныч: ни рабочих, ни инструменту. Ведь голый берег... – ответил Стрежнев.

И он хотел рассказать, что вот нужны домкраты, люди... Но Горбов, перебил его:

– Ничего, ничего! Вы народ дотошный, все сделаете. С такими орлами да не отремонтировать? Вот через недельку такой ли красавец будет стоять, не налюбуетесь. – И тут он, как бы украдкой, взглянул на катер и надел перчатки. – Подкрасите, подмажете, – на воде и не узнаешь!

И снова удивил обоих: быстро вышел на дорогу и, не оглядываясь, покатил обратно, к бору. Не понять было, зачем и приходил.

Стрежнев как оглушенный долго глядел ему вслед, наблюдал, как он, удаляясь, уменьшался, то оседал за гривами, то вновь показывался во весь рост, и длинные полы пальто развивались, хлестали по мокрым голенищам его блестящих на солнце сапог.

Оправившись, как от шока, Стрежнев зло сплюнул ему вслед, сказал:

– Шел бы с багром!..

– А где его нашли? – спросил Семен.

– Да где! всю жизнь здесь околачивается: был завхозом в школе, потом директором Дома культуры, теперь вот в сплавленную перекинули. Андрей Иваныч-то уехал, перевели в трест. А этому везет – всю жизнь не работает, и всю жизнь какие-то должности ему придумывают. Одно время воспитателем в общежитии числился. Воспитатель!.. В шею гнать! Да вот только до первого собрания...

До вечера они ничего толком не делали. И говорили мало. Обоим Горбов, будто отбил руки.

Стрежнев снова злился: и линейного нет, и не звонят, и вода начала прибывать – лезет вон из-под льда на берег...

Они ждали темноты, лишь бы день сбыть. От безделья прибрались в рубке. Когда вымели окурки из машинного и собрали ключи, обоим стало вроде полегче. Тогда и пошли.

Федора застали возле брандвахты на льду. Вместе с женой они окалывали у борта лед – пробивали пешнями вокруг корпуса борозду: прибывающая вода могла разломать схваченные льдом старые борта брандвахты.

– Из затона не звонили? – спросил Стрежнев с палубы.

Федор задрал голову.

– Нет, не слышать... – задыхаясь, устало ответил он. Стрежнев звякнул о палубу топором, сказал:

– Прибери, один пока у себя оставили. Мало ли что...

Они поднялись в свою каюту и тут же молча легли спать.

2

С утра Стрежнев сделал первое дело: за кормой катера воткнул на урезе воды тальниковую палочку – метку.

Вода за ночь прибыла больше чем на четверть, – теперь и дураку было ясно, что скоро она доберется по луговине и до катера. Надо было что-то решать. И первое – звонить в затон: там домкраты, дубляж, люди... Но это значило – кланяться, жалобиться начальнику. Здесь-то и было для Стрежнева самое больное место.

А переломить себя он не мог, да и не хотел. Ведь с момента отъезда и по сей день шло как бы упорное молчаливое соревнование его с начальником. Если в первые дни Стрежнев боялся, что тот позвонит, то теперь он ждал этого звонка. И ждал по-новому. Однако напрасно.

Сидя на осине, он еще надеялся, что вдруг объявится линейный или еще кто-нибудь, и все разрешится. И тогда он мог бы держать свою прежнюю марку – для видимости сопротивляться.

Но вода подгоняла, надо было идти звонить первым, а это значило изменить самому себе.

Семен что-то стучал в машинном, а Стрежнев в беспокойстве сходил поглядел еще раз на метку, но ничего не прибыло: не прошло еще и часу.

Он опять было сел, но тут же встал, решительно хлопнул рукавицами, сунул их на борт катера, крикнул:

– Семен! Оставайся, пойду в контору. Надо за шиворот кого-то брать! Это не дело. Доиграются – утопят, а потом нам же бока и наломают... Чего там стучишь? Брось!.. Теши хоть клинья под борта, с клеток-то подбивать...

Ходьба по оттаивающим после ночного мороза гривам несколько успокоила Стрежнева. Он пошел медленнее: надо было обдумать, с чего начинать, как держать себя в конторе. По делу-то следовало разносить всех налево и направо, идти к главному механику, к главному инженеру... И Стрежнев мысленно представлял себя то в том, то в другом кабинете, а дальше что-то не получалось. Он видел, как встает ему навстречу и с улыбкой протягивает руку главный инженер. Внимательно слушает, а говорит вежливо, спокойно... Как тут будешь кричать?

Потом виделся главный механик – Илья, уже лысый, всегда задумчивый и как бы обиженный. Этого не прошибешь ничем. Все понимает, во всем сочувствует, но ничем никогда не поможет, словно стесняется сделать добро. Какой-то обтекаемый во всех случаях жизни человек. Идти к нему не хотелось. Ведь оба всю жизнь помнили, как тонули тогда в затоне, как потом вызывал начальник – еще не Яков – и Стрежнев дорогой просил Илью сказать, что не сработал, мол, телеграф: вместо «полного назад» так и осталось «полный вперед».

Но в кабинете у начальника Илья скромно промолчал. И Стрежнева сняли с катера. Две навигации потом плавал он матросом. С тех пор и разошлись их с Ильей дорожки. Оба старались как можно реже встречаться. Во всем затоне знал об их отношениях только Федор.

Вспоминая то лето, Стрежнев неожиданно поразился, как давно это было и как быстро пролетело время. Даже не верилось, что оба тогда были еще почти мальчишками, а теперь вот и на пенсию – старик! Так это и есть жизнь? Вся тут? Уж больно мало...

И вдруг Стрежнев остановился, он нечаянно понял, почему ему не хочется идти в контору: «Вот оно что... Получается, начали с аварии, а теперь и конец – авария!

Та-ак... И опять Илья. И снова он оставит меня в дураках! Вот поэтому и жизнь кажется маленькой – от этого маленького, незаметного, но себе на уме человека! Нет, нет, только не к нему...»

А вокруг разливалась, копошилась весна. Задумавшись, Стрежнев чуть не наступил на зазевавшегося куличка. Кулик, видимо, по-настоящему еще не опомнился после изнурительной дальней дороги, испуганно вскрикнул и зачастил остро-пестрыми крыльями над самой водой лога. Стрежнев, вздрогнув от неожиданности, как бы в оправдание своего испуга, любовно, потихоньку обругал кулика.

Шагах в десяти выбежала на тропинку красивая черно-белая птица, чибис-пигалка. Она, будто заигрывая, то дожидалась Стрежнева, то опять пускалась по тропе, без конца оглядываясь хохлатой головой. Стрежнев все шел и шел за ней и незаметно стал улыбаться, приговаривая: «Беги, беги... а то оторву вот хохол».

По обе стороны дороги на спокойной воде нежились мягкие белые облака, и всюду просыхала, прозрачно парила на гребнях грив прошлогодняя немощная травка.

Стрежнев, как спугнул кулика, свернул с тропинки влево к удобному пеньку, сел на него, у самой воды, и стал глядеть вокруг.

Он глядел на воду и думал: «Там затон, катер, начальник – а здесь вот, весна, солнышко. Надо краску, олифу, сварщика... А я вот сижу, греюсь и вместе со мной греются кулички, жаворонки, пигалки... И у них нет никакой заботы. А чем хуже я?»

Приваливало уж к полдню. Когда Стрежнев встал и пошел, у него совсем никакого зла ни к кому не было. Он дошел до самого бора; стал подниматься к конторе, а внутренне так и не собрался, ни на что не решился.

В конторе все ходуном ходило. По лестницам носились мастера, инженеры, трясли какими-то бумажками, на ходу подписывали их, кидались к телефонам, кричали, хлопали дверями...

Стрежнев после лугов поначалу даже оторопел, растерялся, пока не понял: весна, горячка – у всех дел по горло. Надо ремонтировать боны, завозить такелаж, отзывать из отпусков рабочих, отправлять бригады на сплав... Весенний угар! Так бывало всегда, перед каждым вскрытием Унжи.

И Стрежневу стало как-то неловко за себя, за свой катер, за то, что самого нынче по-настоящему не захватила, эта радостная суета...

Он надеялся, что увидит главного инженера где-нибудь в коридоре, тот сам подойдет, и тогда завяжется разговор.

Но, странное дело, народ попадался какой-то все незнакомый, молодой, хорошо одетый. «Молодые инженеры», – подумал Стрежнев.

Поразил его мастер рейда. Это был молодой инженер, присланный три года назад из Москвы отрабатывать после института. Все три года он просился обратно, но его не пускали. И человек, которому не было еще и тридцати, пропадал прямо на глазах. Нынче он стал еще хуже: шел расхлябанной походкой, некрасивое, по-козлиному длинное серое лицо его было постно и имело такое выражение, будто человек ненароком хватил кислоты и все нутро у него начисто выболело.

«Ох, путаники... – выругал Стрежнев не то инженеров, не то тех, кто их здесь держит. – Отпустили бы давно, раз ему в министерство надо. И чего неволить, неужели не видно, что из него работника не выйдет: третий год, как тень ходит. Еще умрет тут, даст заботы...»

Стрежнев скорее пошел вверх. И хорошо сделал: там сразу же попались знакомые сплавщики, мастера. Здоровались, спрашивали, закуривали... И Стрежнев поотмяк душой.

Но тут же снова все побежали по своим спешным делам, и Стрежнев опять остался один. Он ринулся было к главному инженеру. Но того не оказалось – был у директора.

А Стрежнев не мог уже ждать – побежал снова в низ в отдел кадров, с твердым намерением плюнуть на все, звонить в затон. Но только он взялся за трубку, как услышал сзади:

– Вот он!..

Стрежнев обернулся. В дверях стояли линейный и сам Чижов из затона.

– Ну, кому хотел звонить? – спросил, подходя, начальник.

Был он сегодня приветлив и весел чего Стрежнев никак не ожидал.

– В затон, – ответил Стрежнев.

– Говори так.

– Да что, Василий Иваныч! – загорячился Стрежнев. – Ни котельщиков, ни сварщиков, ни домкратов!.. Чай, поднимать надо! Топит!.. Что вы на самом деле, кинули на пустопись и ладно! Голыми руками не сделаешь...

– Ну, ну, ладно, – улыбнулся Чижов, – собирайся, поедем. Все тебе привезли. Пошли поглядим, что там у вас.

Возле конторы стояла машина. Начальник сел в кабину, Стрежнев залез в кузов. Там валялись два домкрата, согнутый корытом дубляж, мешок с углем, спасательные круги и нагрудники, паяльная лампа...

Как только остановились возле катера, начальник выскочил на луговину, немного поглядел на катер и сразу же сказал:

– Ну, давайте поднимать.

– Сейчас? – удивился Стрежнев.

– А чего ждать?.. Нас как раз четверо. По двое на домкрат, и пошло...

– Ну, давайте, давайте, сейчас зарядим... – не переставал удивляться Стрежнев.

Он оживился, подтаскивал припасенные подкладки под домкраты, Семен тем временем сбрасывал с катера ломы, запасные рукавицы для начальника.

Мигом зарядили домкраты под скулы катера и начали выхаживать.

Стрежнев крутил в паре с линейным, а Семен с начальником.

Сначала шло легко, только успевай перetyкать ломы в отверстия домкратов.

– Веселей, веселей, Николай Николаич! Отстаете!.. – шутил Чижов.

Сам же налегал на лом изо всей силы, даже из пальто выбился, бросил на гриву, остался только в кителе.

Стрежнева брала одышка, но он не хотел поддаваться и вместе с линейным бежал бегом. Нос катера медленно отрывался от шпашки, а крутить становилось все тяжелее. Стрежнев никак не ожидал такой прыти от начальника: «С чего бы это, такой добрый? Не подвох ли опять какой?..»

Когда днище катера приподнялось над шпашкой четверги на две, Чижов сказал:

– Хватит, оставьте на завтра!.. – Тяжело дыша, он взял Семена за полу. – Дай-ка фуфайку, погляжу...

Когда вылез из-под катера, вслух подумал, ни на кого не глядя:

– Шпаш, видно, этому катеру. Уездили. Списывать придется... Дубляж ставить тоже не больно ладно. Да еще на перевоз, людей возить... Ладно, варите. Поглядим...

– Так, а где сварщик-то? – вскипел Стрежнев, Чижов растерянно поглядел на него.

– А и у нас нет. Самим в затоне не хватает, в три смены варим.

Он опять задумался, потом повернулся к линейному, сказал:

– Вот что, Олег Павлыч, надо будет здесь взять, в гараже, Степана. Он хорошо варит, и катера, говорят, варил... Да, так и сделаем. Я скажу главному. А ты сходи к нему завтра с заявкой. Ну, поехал. Вон уж солнышко-то за крест задевает. Засветло до дому добраться

бы... Дорогу совсем развезло. Грузите лишнее на машину, круги старые бросайте... Чего еще, говорите, пока не уехал...

– Так ведь людей надо, поднимать-то, – сказал Стрежнёв.

– Надо... и крепких ребят, – ответил Чижов. – Одышка здесь берет. А вот что! Федора с брандвахты попросите.

– Так нам совестно просить-то уж его: топоры давал, бревна пилить подсоблял, – сказал Стрежнев и украдкой глянул на начальника. – Чего ему бесплатно-то чужое дело ломить. Чай, у него брандвахта, окалывать надо. Да и еще человека до пары нужно.

– А вот, линейный! – кивнул начальник на Олега – Денек поработаете вместе. Веселее. А Федору Олег Павлыч, составьте табель. Сколько дней отработает, так и оплатим. И пусть не боится, помогает, коль такое дело. Ну, уголь, круги сняли? Поехал... Чего еще, говорите... Котельщиков пришлю. Да, чуть не забыл!.. Вот, распишитесь, деньги привез. Вам еще долго тут жить. Вот что. Олег, давай еще требования три подпишу на всякий случай, чтобы не ездить в затон из-за одной подписи. А склад у вас тут под боком...

Он подписал на колене требования, встал на подножку кабины, крикнул напоследок:

– Садитесь, кто? До брандвахты подвезу.

– Да, чай, прибратся надо! – с досадой ответил Стрежнев.

В кузов залез только линейный.

Затаскивая на катер новые, пахнувшие свежей краской спасательные круги и ребристые спасательные нагрудники, Стрежнев думал: «Заигрывает... Поднимать сам стал, денег привез... Наверно, думает, вот все сделаем, так и на всю навигацию оставит. Мол, поработай, Стрежнев. Как не так! Столкну – и все. Пусть ведут в затон, да движок вынимают, в цех везут...»

Дума о начальнике не покидала Стрежнева и дорогой, и на брандвахте: «Так он и поднимал-то только затем, чтобы доказать, что вот, мол, видите, как легко – поднимете без людей, одни. Вот плут!.. Ну, не на того нарвался».

Сварщик ушел за глухарями

Через два дня катер приподнялся на гривой – прямо и прочно стоял на клетках.

А в каких-то пяти шагах за его кормой дышала холодом широкая мрачная закраина. Рядом с катером на бугорке вдавился в луговину тяжелый куб сварочного аппарата. На потемневшем от сырости столбе электролинии был прибит временный рубильник; к нему от аппарата ужом проползал по траве старый кабель.

Сварка намечалась на воскресенье утром.

Все было готово еще с вечера: аппарат проверен, места будущих швов зачищены. Двое котельщиков из затона ночевали у Семена и Стрежнева.

Чуть свет все четверо были на берегу. Семен достал из машинного отделения электроды, положил их на борт катера, сел ждать, сварщика.

Стрежнев сходил, поглядел метку, выдернул ее и бросил в закраину – вода лезла против всякой меры. Он постоял в раздумье и тоже сел на обрубок рядом с котельщиками. Ждали. Утро было волглое, теплое.

– Что-то долго нет, – в нетерпении сказал Семен.

– Подожди, дай позавтракает, – стараясь успокоить и себя и всех, ответил Стрежнев. – У него ведь не у нас – не горит.

Сидели. Прошло полчаса... Час.

Семен сходил в кубрик за биноклем и время от времени внимательно прошаривал всю дорогу вплоть до леса.

– Идет! – наконец крикнул он сверху. – В лога спустился... Сейчас еще погляжу: закрыло. Так это не он!.. Линейный...

Олег подошел виноватый, злой.

– Ну, что?! – Стрежнев привстал ему навстречу. – Идет?..

– За глухарями ушел...

– Фи-и-и-уу!.. – присвистнул Стрежнев и сел. – Ладно, подождем. Не к спеху... А может, дядя придет, заварит...

Семен слез с катера.

Все в недоумении молчали. Семен прочищал прутиком ручеек возле сапога, не разгибаясь, спросил:

– Так он что, не знал?

– А он всю субботу глядел в окошко и все думал: «И когда это транспортники придут?..» – со сдерживаемым раздражением ответил за линейного Стрежнев и вдруг вскочил. – Так вы что?! Как запрягать, так и лягать? Раньше-то нельзя было известить?!

– А ты не ори! – вскочил и Олег. – Заявка отдана еще в пятницу! Начальнику гаража под нос сунул!..

Стрежнев спустился в машинное. За двигатель браться было бессмысленно: только начнешь – придет сварщик. Да и не намерен он был его ремонтировать. Считал про себя: «Когда спустим на воду, вскроем блок цилиндров, разберем насосы – будет сразу ясно, что надо буксировать в затон: наверняка все нутро избито. А в затоне сделают и без нас...»

Конечно, было пропасть и других дел, но пока худой корпус, ничего на ум не шло, ни к чему не лежали руки.

И Стрежнев, бесцельно переложив с места на место ключи на двигателе, снова вылез наверх. Линейного уже не было.

Стрежнев вошел в рубку, приложился к биноклю – дорога вплоть до боровины была пустынна, только маячила, удаляясь, прыгающей походкой одинокая фигурка линейного.

«Не придет», – подумал Стрежнев о сварщике и по трапу сошел вниз. Размотал с аппарата кабель, оглядел держатель, вставил электрод. Задумался: «Лет пять, а то и семь не варил...»

– Семен! – крикнул Стрежнев на катер. – Выкинь-ка, там на баке лоскуток старого брезента есть.

Семен спустился с катера, сунул свернутый брезент на аппарат, спросил:

– Чего, или сам будешь?

Стрежнев не ответил. Забрал щиток с брезента и полез под днище. Подошли котельщики, одобрили:

– Конечно, давай. Чего ждать...

Стрежнев думал начать с трещины, как пойдет, а уж потом варить дубляж. Включили рубильник – аппарат, как самовар, запел. Стрежнев, устроившись на брезенте, попробовал сначала на железке – подвернувшемся обрубыше. Все глядели под катер, ждали. Стрежнев пыхтел, ложился удобнее... опять отнимал руку. Но скоро вылез, выругался в сердцах, бросил держак на землю, сказал с обидой;

– Не могу!

– Чего?.. – сострадальчески спросил Семен.

– Рука, как деревянная, отвыкла. Давайте хоть леера пока, что ли...

Котельщики разожгли лампу, грели, выправляли леера. Стрежнев ждал их, стоял на палубе со щитком на голове. Потом варил. Здесь было попроще.

Когда обошли палубу кругом и леера закончили, Стрежнев спустил все свое хозяйство вниз и опять залез под днище. Долго еще он там ругался, ворочался... Потом послышалось ровное потрескивание сварочного огня, и на палубе облегченно вздохнули: «Варит!».

Часа через два трещина была заварена, и Стрежнев вылез, держась одной рукой за поясницу. Котельщики тем временем прижимали к днищу домкратами дубляж.

Когда Стрежнев закончил и его пришел сварщик Степан. Он внимательно, не спеша изучал на днище швы, обивал с остывших окалину, потом сказал как бы обиженно:

– Ну, мне тут делать нечего... Чище не выйдет.

– Так, чай, себе, – смущенно ответил Стрежнев. – Глухарей-то видел?

– Один оплошал, попался.

До самой темноты варили порванный фальшборт, крышки и петли люков, кольцо насадки и еще всякую мелочь.

Ледоход

1

И опять у них наступила передышка.

Их уже не пугала вода, которая неуловимо, но настойчиво окружала катер с трех сторон, любопытно совалась в каждую ложбинку.

Котельщики сожгли весь уголь, погромели кувалдами, выправили все, что смогли, и уехали.

И Стрежнев с Семеном второй день ходили вокруг катера с ведерком и щедро закрашивали все ушибы избитого днища суриком и голландской сажей. Потом принялись за надстройки, леера, мачту... Не только катер, но и сами они измазались этой краской. Фуфайки и даже шапки у обоих пестрели белыми и красными кляксами.

Долго истлевала за церковью теплая апрельская заря. Солнце уходило спокойно, и небо отпускало его без напряжения, с легкой душой – намечалось опять вёдро. И оба радовались: катер на солнышке высохнет быстро.

Кончали. Любовно докрасили белилами рубку – самое святое на катере место. Составили на палубе все ведерки, вымыли в бензине кисти.

– Ну, все – отмалярили, – облегченно вздохнул Стрежнев и со скрипом вытер морщившиеся от бензина руки. – Остался только двигатель. Самое главное!..

Не оборачиваясь, они отошли по гриве шагов на двадцать и издали оценивали свою работу.

– Верно Горбов-то говорил – залюбуешься, – с улыбкой сказал Семен.

– Да, разукрасили... – усмехнулся и Стрежнев. Однако в душе он все-таки радовался. Катер был по-весеннему нов, свеж и казался теперь лишним среди щепы, обрубков и тряпок на берегу. Жарким малиновым днищем он будто едва касался клеток и весь был стройно устремлен вперед, куда-то за гривы. С блеском чернели выкрашенные голландской сажей ладные теперь обводы его бортов, а на них изящным сугробом белела влитая в палубу рубка. На ее боку еще нежилась тихий отблеск угасающего закрайка неба. Это броское сочетание давно продуманных и подобранных на флоте красок на время заставило обоих забыть о больных местах катера.

Им можно было вернуться к нему, присесть на чурки, но они будто из-за лени опустили на корточке и курили так, изредка, словно нехотя оглядывая катер.

Тепло и тихо было в сырых лугах. С закатом угомонились жаворонки, примолкло в селе за рекой. Все замерло.

– Гляди, летят, – задрал кверху голову, сказал Семен.

Живая цепь гусей, еще освещенная с одной стороны солнцем, медленно проплывала над ними, белея на взмахе розоватыми подкрылками. Стая не издала ни единого клика, и Стрежнев, охотник, почему-то сейчас не подумал о ружье.

– Устали. – только и сказал он.

Вечерняя истома одолевала землю. Она будто призадумалась и готовилась, к чему-то очень важному, сокровенному.

Стрежнев с Семеном, тоже оба размякшие, устало-счастливые сидели и молчали, будто во сне. По делу им давно надо было идти домой, часов пятнадцать пробыли они сегодня на берегу, а все не шли.

Гуси уплыли к лесу, измельчали, потом вовсе стушеввалась там, и, когда Стрежнев вновь глянул на катер, был он уже в легких голубых сумерках и не казался теперь таким франтоватым, а как-то потускнел, будто сжался, осел.

– Николай! А ведь река-то пошла!

Стрежнев взглянул на черный больной лед и сначала ничего не заметил. Перевел глаза к берегу: ледяная дорога медленно уползала под корму катера. Они подошли поближе, сели на свою уже гладкую отшлифованную осину.

Темнело все больше. Широкое поле льда то останавливалось, будто раздумывая, то с новой силой начинало жать на берег. Краем льда, как лемехом, заворачивало возле катера дерновину луга, и она сонно шлепалась, тонула. Вода на глазах то прибывала, то вновь с сопением осушала берег. По всей реке стоял смутный шорох, водяные всхлипы; то ближе, то дальше слышалось потрескивание, глухие удары, короткий рассыпчатый звон...

Долго еще в темноте они молча слушали ожившую реку.

У Стрежнева не было никаких дум ни о ремонте, ни о жизни. А было просто глубокое облегчение, та легкость, какая приходит весной ко всякому, а к речнику – со вскрытием реки. Будто и ледоход, – это тоже часть зимнего ремонтного дела, которое нужно свалить со своих плеч. И вот эта тяжесть стронулась...

Совсем поздно, в мягкой темноте, они медленно брели по сырым гривам к брандвахте, обходили продолговатые белеющие заливины, вспугивали притихших чибисов. И птицы бесшумно, теньями взмывали с грив и уже там, высоко, отрывисто жамкая короткими крыльями, обиженно умоляли: «Шли-и бы, шли-и бы...».

На брандвахте все окна были темны – спали.

Они осторожно прошли скрипучим разошедшимся коридором и удивились, когда следом за ними в каюту заявился Федор. Был он сегодня какой-то усталый, квелый.

– Река-то пошла, – скачал Стрежнев, разматывая портянку.

Но Федор не ответил. И Стрежнев, думая обрадовать его, сказал еще:

– Сегодня покрасили... Вон все измазались.

– Ну, так что, – невпопад ответил Федор, – пора ей... Май скоро.

Говоря, он даже не пошевелился, не поднял головы, так и сидел, сгорбившись, на табуретке. Стрежнев с удивлением поглядел на него, спросил напрямик:

– Ты с похмелья, что ли? Какой-то мятой сегодня. – Да нет...

Федор прикурил, посидел еще молча, дуя дымом в пол, потом вздохнул и ушел.

И Стрежневу тоже стало как-то не по себе. Раздевшись, он все хотел догадаться, что же стряслось у Федора, но так и не придумал. Усталость сморила его и осторожно, как в детстве, унесла далеко от всего этого дня: от реки, катера и даже от ледохода.

2

Катер с клеток был посажен на сани. Стоял сильный туман. На берегу, ожидая спуска, толпилось много людей.

Трактора так дружно взяли, что выдернули сани из-под катера, и он тяжело, беспомощно завалился красным брюхом на мокрую луговину.

И опять поднимали...

Совсем заливало. Вдвоем с Семеном выхаживали домкраты, бродили по колено в воде. Стрежнев задыхался, некогда было вытереть пот. На гриве отдельно от толпы стояли двое: Илья да директор сплавной конторы, и Стрежневу слышно было, как Илья, нагибаясь, говорил директору: «Вечно у него не ладится...»

А Стрежнев молчал, некогда было: вода все поднималась. Он разогнул голенища сапог и свое зло срывал на домкрате.

Наконец снова подвели сани опустили на них катер.

Теперь оба трактора упирались в сани, а не тянули их за собой. Нажали враз, и сани, затрещав, покосились, но поехали к воде. Вот уже затонули и, видимо, на самом яру неожиданно встали на дыбы. Нос катера задрался, разом лопнули чалки, и катер игрушкой, как-то шутя нырнул в воду... Долго бурлили, всплывали масляные пузыри. Потом вода стихла, разгладилась, и только пустые покосившиеся сани медленно уносило течением...

Толпа волновалась, шумела. Расплываясь в тумане, гаденько, сладко улыбался Илья и потирал руки.

Стрежнев стоял в воде как оглушенный, а из тумана со всех сторон – громом на всю реку: «У-то-пи-и-ли!!»

Очумевший Стрежнев вскочил с кровати: «Что?! Кто утопил?.. А-а... приснится же бодяга! Сроду не тапливал...»

Он шагнул к столу и напился прямо из чайника.

– Семен! Пошли!..

– Еще темно.

– Все равно, пойдем. Утопим – так утопим... Это не спанье.

Пока шли до катера, Стрежнев никак не мог отделаться ото сна и вдруг понял: «Так, правильно! Надо не обоими тракторами тянуть, как вчера говорили, а одним... Другой пусть толкает. А то и на самом деле сдернешь только сани».

Эта догадка оказалась такой простой, что Стрежнев удивился, как это вечером она не пришла ему в голову.

Да, поднялись они рановато. На берегу было еще сумеречно, слегка туманно и очень тепло. Серединой реки спокойно, будто в масле, скользило мелкое крошево льда: видимо, где-то вверху был затор, лед держало.

Прошла вверх груженная волжская самоходка. Потом из-за поворота показался снизу целый караван катеров.

– Семка, наши! Гляди – из затона, – обрадовался Стрежнев, толкнул Семена в плечо.

Первым шел озерник. Семен приподнял край шапки, чтобы лучше видеть. Гладким свободным стрежнем катера шли ходко.

– Они вольны теперь... – позавидовал Семен. – Скоро в Макарьеве будут. А тут вот сиди у этого – не кол, не весло, – он кивнул на катер.

Глядя на приближающийся караван, Стрежнев тоже задумался: опять видел он весь, фарватер вплоть до Макарьева, высокий монастырский берег, старые лапы и березы, грачей, музыку, девчонок и молодых капитанов в бравых мичманках...

И накатило опять сожаление о прошлых веснах. Опять обуяла такая тоска, будто с головой накрыло прижимистой осенней волной. «Хоть бы попрощаться сплавать... Не дал. Э-эх, время-времечко... Всему, видно, свое...»

А караван был уже рядом.

– Семен, «пятерка»! Наш!.. Передом-то наш валит... Кто на нем?..

Стрежнев встал на осину и глаз не сводил с катера.

– Хоть бы из рубки показался, что ли, – с болью сказал он. – А ну-ка, сирену! Сигнал дай! Скорее!!

Семен заскочил на катер, включил сирену.

И на «пятерке» услышали, ответно завыли, потом распахнулась дверь, и показался Иван Карпов, снял с головы помятую шкиперку, стал широко махать.

Стрежнев сорвал свою шапку и замахал ему, обрадовался, что катер в надежных руках, у опытного капитана.

А мимо шли другие катера и тоже сигналили Стрежневу, и все махали с весенней легкостью. Вольно трепетали на мачтах новые флаги.

Прошли катера, утихло на реке, и как-то сиротливо, одиноко стало вокруг. Стрежнев не спеша закурил, все думая о своей «пятерке»: «Разве чета она этому! Катер килевой, с фальшбортом... одним словом – озерник! Не случайно он и ведет весь караван, и Карпов на нем тоже не случайно... А ведь мне надо было, мне вести всех! Нет, все ж несправедливо!..» – не мог он простить начальнику.

На берег между тем сходились люди: пришли двое рабочих, мастер по такелажу. Два трактора грохотали куда-то гривой, наверно, тоже сюда.

Подошел главный инженер, а с ним опять Горбов.

Стрежнев удивился, что столько людей заинтересованы в спуске, обрадовался. Но в то же время люднота эта его и стесняла. Он как-то терялся, а Горбов его злил. И Стрежнев побаивался, что сорвется, шуганет его с берега, и опять начнутся; новые дрязги. «А зачем это мне: до пенсии остался всего какой-то месяц. Надо уходить хорошо, тихо. Ведь как бы там ни было, а вроде уж все поналадилось, катер готов, вот осталось только спустить и можно вести в затон, двигатель наладят и там, еще скорее. Главное – спустить. Вот что мне осталось: спустить...»

– Ну, как, Николай Николаевич, – подошел главный инженер, – свой перевоз у нас будет?

– Не знаю, Павел Андреич, – усомнился Стрежнев, – вот как движок... В затон, наверно, придется, ведь все разбито.

– Сделают, сделают, Павел Андреич! – подошел и бодро пообещал Горбов. – Эти ребята, знаете, – орлы!..

Стрежнев поморщился.

А Горбов вдруг кинулся к грохочущим тракторам, замахал им своей каракулевой шапкой, – гнал их к воде.

Главный в это время был под днищем, проверял сварку. А рабочие по распоряжению Горбова тянули уж от тракторов к саням тросы.

«Что он делает?..» – не понимал, растерянно глядел Стрежнев. Он хотел крикнуть, но трактора все заглушили.

Кто-то дернул Стрежнева за рукав – он оглянулся: рядом стоял главный и, улыбаясь, показывал большой палец. «Во!» – сказал он губами и взглядом и кивнул на днище. Стрежнев понял, что он хвалит сварку, однако никак не ответил главному – ни улыбкой, ни жестом – все глядел растерянно на рабочих, которые подводили под сани тросы, на Горбова.

Заметив растерянность на лице Стрежнева, главный сообразил, в чем дело, нагнулся, прокричал ему в ухо:

– Действуй! Николай Николаич!.. Командуй, как думаешь. Мешать не будем!..

Трактористы, увидев, что Горбов с главным пошли в сторону, на гриву, недоумевая высунулись из кабин.

Стрежнев поманил к себе трактористов пальцем. Когда они подошли, крикнул им зло:

– Заглушите к чертовой матери! В ушах больно...

Трактористы сбавили обороты до малых.

Стало почти тихо. Как раз этого и хотел Стрежнев: ему надо было внутренне собраться, все уяснить. Спуск был как бы венцом, всему делу, всему ремонту. Даже в затоне и то часто

бывали аварии именно при спуске. А здесь, да с таким катером, с трактористами, – почти мальчишками, которые никогда этого не только не дельвали, но и не видывали... Да и сон свой Стрежнев все еще помнил.

– Вот что, ребята, – сказал он, – присядьте... Не на пожар. Сначала давайте поговорим, а то ведь дело едва живо: сани старые, катер гнилой. Не дай бог, утопим! Помаленьку будем. Значит, так...

Стрежнев встал.

– Ты, трелевочник, хватай на тягу, спереди на коротком буксире. И заходи прямо в воду, не бойся – тут полого, мелко... Потом поворачивай вдоль берега, бреди вниз. Только ниже осины не ходи: ярк, кувыркнешься. Гляди, вон на осину... А ты, на бульдозере, заходи с носа и упирай ножом прямо в форштевень. И оба начинай враз, как махну, чтобы сани не выдернуть... Слушай только меня. Я встану вот тут... – Стрежнев отошел от катера, показывал, говорил. – По руке на брата. Твоя, – он поднял одну руку, и другую, – твоя. Машу так – пошел, руку вверх – стоп. Эту или эту – ты или ты... Поняли?

Трактористы кивнули головами, встали.

– А ты, Семен, гляди с той стороны, мне не видать. Если что, маши... Ну, зачаливаем! Подходи...

Трактора вновь заревели. Главный, Горбов и такелажный мастер подошли поближе, но стояли все вместе, видимо, главный не пускал их к катеру: он давно знал Стрежнева, его характер. Знал и надеялся.

Трактора, стреляя синим дымом, натужились, взяли разом. Катер дернулся и медленно пополз кормой к воде. Вот трелевочник уже обмочил гусеницы, бредет вдоль берега, тянет, разворачивает за собой и сани...

«Стоп» – махнул ему Стрежнев, а заднему: «Давай, давай!» Катер макнул винтом воду, но бульдозер, упираясь один не осиливал.

Стрежнев остановил и его.

– Отцепляй! – закричал он переднему. – Заходи с носа, бери тоже в упор...

Семен и рабочие кинулись отцеплять трос, тащили к носу катера обрубок от бревна.

И опять трактора взвыли. Вот уже почти полкатера в воде, но трелевочник перестарался, сани стало разворачивать, косить. Бульдозерист увидел это, газанул, сунул в нос катера так, что задрожала и с треском лопнула на среднем кнехтеле чалка. Тут же, как нитка, порвалась, хлестнула по борту и другая. Катер повалился набок в воду...

Бульдозерист оробел, выжал сцепление, а катер валился все быстрее, круче...

У Стрежнева перехватило дыхание.

– Толкай!.. Оба!!! – заорал он и беспомощно раскинул руки: «Вот снилось...»

Трактора хищно взревели и свалили катер в воду, будто действительно хотели его утопить.

Секунды три никто не понимал, тонет он или нет.

Катер все погружался и погружался, потом остановился, будто одумался, вздохнул – выпустил из-под брюха воздух. И, выравнявась, закачался – стал макать алые скулы в мутную воду: ожил!

И на берегу каждый вздохнул. Трактористы, как мальчишки, повыскакивали из кабин, бежали к воде.

А катер уже подхватило течение, оттягивало вниз. Семен, раскорячившись, тянул санный трос из воды, пытаясь закинуть его за торчок на берегу, но уже опоздал...

– Держи, унесет! – озорно крикнул главный и бегом кинулся на помощь Семену. Но его опередили рабочие и трактористы. Все вместе, ухватившись за трос, остановили, потом подвели катер к берегу, и Семен основательно заделал чалку. Подумавши, он сходил за ломом и для верности вбил еще и его в петлю чалки.

Все столпились у самой воды напротив катера. Откашливались, улыбались, закуривали. Слышалось пока только односложное: «Ну, чуть-чуть!.. Порядок! Я думал уж все...»

Только ничего не говорил Стрежнев.

Обессиленный, вдруг ослабевший, он сидел возле гусеницы трактора прямо на мокрой луговине, обеими руками упирался к землю, будто пытался встать.

Все стояли, повернувшись к катеру, и Стрежнева никто не видел.

И сам он, казалось, никого не видел и не слышал. Он только дышал, как раненая птица, раскрывая рот, и всем своим существом осознавал лишь одно: «Все!»

Медленно стянул он с серых от седины, слипшихся волос шапку, положил ее возле сапога и, глубоко, облегченно вздохнув, тоже наконец закурил. «Все!»

Семеново дело

1

Катера, самоходки, буксиры шли в верховье реки теперь каждый день.

А вниз каждый день то гуще, то реже несло им навстречу лед. Медленно, как великое кочевье по огромной дороге, тащились мимо лесов и деревень огороженные ельником проруби, лодки, брошенные сани... Река словно показывала берегам всю свою многотрудную зимнюю жизнь. Показывала и как бы говорила людям: «Видите, все уношу, все очищаю для вас...»

Долго еще Стрежнев стыдился самого себя, что так испугался за катер. Сожалеть теперь о всей этой весне было уже поздно: большая часть ремонта выполнена, и его, стрежневская, задача как бы отпадала сама по себе.

Но Семеново дело – двигатель – не начиналось вовсе. О двигателе Стрежнев думал так: «Конечно, Семена не бросишь, надо помогать, но ведь ничего и не выйдет: все равно придется вести в затон. А к тому времени мне и работать то останется – шиш!»

Поршневая, как и предполагали, не годилась. Надо было менять. Семен во всем соглашался со Стрежневым, сам же ничего не предлагал.

Федор стал еще угрюмей, неразговорчивей, в каюту к ним перестал заходить вовсе: внук его, не прожив и двух недель, со вскрытием реки неожиданно, умер. И Федор, отложив все дела, строгал и околачивал на палубе детский гробик. Потом Стрежнев с Семеном видели, как нес он на плече этот белый ящичек лугами, не поздоровавшись, тяжело прошагал мимо катера, сел в лодку и, расталкивая багром льдины, стал пробираться на ту сторону. Стрежнев, провожая его взглядом до середины реки, все думал о странном совпадении, давно подмеченном людьми: исход человеческой души чаще всего приходится на вскрытие реки. Поразил его и сам гробик – маленький, будто игрушка, а назначение – страшное, роковое... За всю свою долгую жизнь видел он такой впервые.

Еще меньше говорили теперь Стрежнев с Семеном и меж собой. Семена это не тяготило, он по натуре был такой, а Стрежнев окончательно убедился, что эта последняя навигация пошла насмарку.

Нет! Не так он думал уходить с флота! Хотелось по-хорошему, как уходили другие.

На своем родном катере швартовались в затоне на ночевку. И все свободные от вахт с других катеров набивались в кубрик прощаться. Варили уху, сидели до самого рассвета, а потом капитана под руки уводили домой – и все шли к нему на дом... Дарили подарки, передавали катер в другие, надежные руки. Все делалось честь честью.

«А я что? В затон придется плыть и то на чужом катере, или – еще позорнее – уведут на буксире! Перед Анной стыдоба», – думал Стрежнев.

Теперь уж он не ругал и начальника. Жизнь сама сделала все по-другому: умер Яков, прислали этого, Семен надумал уезжать, да и сам я разгулялся, опоздал...

Одно к одному, как нарочно, подобралось...

А ночами все чаще одолевали Стрежнева думы. И почему-то вспоминались больше всего ледоставы или вскрытия реки. Плавания, навигация – реже. Может быть, потому, что весной и осенью – всего два раза в году – весь затон собирался вместе.

По сути дела в затоне и было всего два этих праздника: конец навигации и открытие ее. Был, конечно, еще Новый год...

Теперь Стрежнев как бы обратно плыл по всей своей жизни, туда, далеко – к своей молодости. И не такая уж пустая получалась она, жизнь. Это успокаивало, и хотелось вспомнить все до самых маленьких мелочей.

Думал он, что вот в затоне перед выходом каравана «размораживали рули». Иными словами, со спуском каждого катера по давней затонской традиции полагалось на борту выпить – отблагодарить ремонтников, подписать акт о приеме судна и готовится к первому рейсу. Это даже не пресекалось начальством.

2

С утра Олег хлопотал в конторе, по запасным требованиям, подписанным начальником, выпрашивал новую поршневую группу.

Было договорено в обед встретиться с Олегом в столовой поселка, чтобы вместе идти в склад за поршнями.

Поэтому в одиннадцать часов помыли руки, закрыли машинное отделение и пошли.

Олег пришел в столовую, положил на стол требование, сказал:

– Насилу дали.

Стрежнев взял бумажку. Внизу стояла подпись главного механика Ильи, и его же рукой помечено, что разрешается получить поршни старые, уже бывшие в эксплуатации, один комплект.

На складе оглядели несколько комплектов, подбирали поршни по весу, как положено.

– Ну, которые облюбовали? – спросил кладовщик, нетерпеливо поигрывая ключами.

– А все одинаковые – старье оно и есть старье. Вот эти, что ли... – сказал Семен.

– Не возьму, – не глядя на поршни, сказал Стрежнев и сел на ящик. – Новые давай.

Кладовщик улыбнулся:

– А требование где?

– Ну, эти тоже – не лучше наших. Не работа, а одна копоть будет, течением унесет.

– Так, а нам-то... – сказал Семен. – Недели на две хватит и ладно. А там пусть плавают...

– Да, тебе, конечно, пусть, ты смоешься! А мне все глаза протычат: «Вон, отремонтировал Стрежнев!» К караванке не выйдешь. Ведь все лето будет в затоне торчать, как бельмо на глазу. Делать так делать! Нечего людей смешить.

– Ну, мне все равно, – сказал кладовщик, – давайте требование. Вон и новые лежат, еще в упаковке.

– Покури, сейчас принесу, – сказал Стрежнев. Олег заполнил еще одно требование, и Стрежнев, сунув его в карман, пошел.

Пока шел в контору, обходил загористые ручьи и широкие лужи, все думал: «Конечно, новые надо! И так весь ремонт еле-еле. Ну, эти поставишь – то ли будут работать, то ли нет. Ведь у нас, у голышей, инструменту как следует замерить и то нет. Вот и выйдет: собирай да разбирай! Еще неделю будешь возиться... Ах, иуда, и того пожалел! – размышлял об Илье. – Ведь дизель-то никуда не денется, снять потом с «девятки» можно, на другой катер поставить. Все-таки не миновали его... И опять ведь прав!»

Стрежнев решил сразу идти к главному инженеру и, если можно будет, не заходить к Илье. Вспоминал он, как после той давней аварии, через год или через два, стал Илья подниматься в начальство, к бумажкам. С каждой навигацией все выше и выше. Так к старости и до главного механика дошел. «Теперь уж тоже, наверно, вот-вот на пенсию. Поэтому и держат, а то ведь вон сколько молодежи, с дипломами...»

Однако за всю свою жизнь Стрежнев ни разу не позавидовал Илье, его спокойной, всегда тихой кабинетной жизни. Стрежнев любил живое дело, живую реку и знал, что в кабинетах не высидел бы: натура не та.

Главный инженер подписал требование без слов, но сказал, что подпись главного механика тоже нужна.

И Стрежнев пошел. Кабинет был общий, и сидел в нем не только Илья, а – главный энергетик, начальник производственного отдела и еще какие-то чины.

Стрежнев поздоровался, подошел к Илье, положил ему бумажку на стол.

– Подпиши...

Илья долго раздумывал, глядел в окно. Потом снова взял требование, посмотрел его даже на обороте. Взял ручку и опять задумался.

Стрежневу казалось, что Илья сейчас поглядит требование еще и на свет. «Ну, куда берет? – думал Стрежнев. – Ведь все катера уже отремонтированы, ушли...»

– Старое требование изорвите, – сказал наконец Илья, подписал и, отвернувшись к окну, не глядя, сунул требование на край стола.

Стрежнев знал, что другому, конечно, Илья не дал бы, да подпись главного инженера, видимо, его смущала.

И все же, спрятав требование в нагрудный карман кителя под фуфайку, вышел он на улицу с таким нехорошим чувством, как будто занял что для себя лично у этого жадного человека.

3

Двигатель был собран. Оставалось подключить системы – топлива, масла, охлаждения, – и можно было пробовать, пускать. Об этом и думал Стрежнев, гуляя по обносу брандвахты. Вскрикивали в ночи чирковые уточки, тонко и нежно посвистывали в ответ им селезни в затопленных кустах.

Вышел на обнос и Федор. Облокотился рядом, молчал.

– На днях уведут, – проговорил наконец он, глядя в темноту.

– Звонил, что ли? – спросил Стрежнев.

– Звонил. Ремонтироваться потащат. Вот отремонтирую кому-то...

– Ну, и мы скоро совсем на катер переберемся. Не слыхал, сколь план нынче по конторе?

– Что-то миллиона полтора кубометров всего. Сплавят... Вода хорошая. Пойду, может, усну. Тоска какая-то.

– Тебе когда срок выходит? – спросил Стрежнев.

– Два месяца... дотяну.

– А мне уж один, – сказал Стрежнев, – с небольшим хвостиком. Что делать-то будем?..

– На печи и поодиночке не скушно, – ответил Федор и ушел. Стрежнев постоял еще, прислушиваясь к ночи, потом тоже прошагал к себе.

Спал и не спал. Просто лежал, думал: «Эх, скорее бы осень, что ли!.. Когда все в затон собираются – никогда скучно не бывает. То ли от мороза, то ли от спешки, но все бегом бегают. У всех радость, все вернулись домой. Кончились вахты. Окаянные осенние вахты! Ледовые, долгие, в непроглядной темени... Мученье одно, а не работа: винт забивает льдом, из рубки не высунешься – лицо ветром, как бритвой, полосуется, матрос не успевает шуровать печку,

движок едва тянет, давление масла на манометре ниже шести, леера оборваны, привальный брус измочален, аккумуляторы едва дышат... Все износилось за навигацию! Но все иди, иди и иди...»

Не успеешь сунуться в затон – снова приказ: иди за баржой, проломили – тонет; иди за таким-то катером: заклинило винт. Пришел, – снова иди... И нет тебе ни дня и ни ночи.

И все капитаны, у кого хоть как-то еще ползает катер, сутками стягивают всю братию – весь флот – домой, в свой затон. По несколько ночей за штурвалом без сна, небритые, без настоящей еды, без курева...

С каждым часам все гуще и медленнее несет рекой лед, все толще и крепче он. Вот-вот река схватится и тогда... тогда ремонтируй, кто где остался, мучайся вот так, как с этой «девяткой».

Начальство не уходит с берега. Ночует тут же, в караванке, на жестком деревянном диване у телефона.

Караванный не чувствует под собой ног. У него хлопот больше всех: надо с толком расставить на зиму весь флот, чтобы каждому было удобно ремонтироваться. Он должен знать, у кого какой будет ремонт: кого придется вытаскивать на берег, кого оставлять на всю зиму во льду.

Целой упряжкой, как собачья свора, тянут катера к затону тяжелые краны. Метр за метром пробиваются сквозь густой ледяной замес. Тянут весь день, вечер и ночь... Надрывно урчат перегретые двигатели, свистит в рангоуте ветер, обмерзают палубы, скрежешет и лопаются вокруг лед. В кубрике не усидишь: кидает с борта на борт, а снаружи как будто бьет кто остервенело по железу кувалдой.

Все медленнее, неохотнее поддается отяжелевший край: копится у него под днищем ледяная подушка, вырастает, упирается, наконец, в донный грунт – и с искрами лопаются в ночи стальные троса! Распахиваются на катерах двери рубок, и летит в ночь чей-то, как с яру сорвавшийся, отчаянный крик: «Разделявай!.. Выбирай!..» И мечутся по ледяным палубам люди, летают тени, дробно стучат тяжелые сапоги, кинжально полосуют тяжелую тьму ночи прожекторы...

Но вот наконец все в сборе. Все в затоне. И валяются измученные люди, где попало: на стулья, скамейки, прямо на пол жарко натопленной караванки.

Умаялся затон. Утих. Спит.

Мертвеет в призатонской гриве последний обреченный на дубах лист. Прибрано, просторно, тихо по темным лесам вокруг затона. Задумчивы сосновые кряжи, глядят с соседних увалов на свою раздетую братию – отмахавшее жарким каленым листом чернолесье.

Изредка, будто примериваясь, робко взглянет с холодной вышины на землю месяц и снова потонет во тьме – маленький и далекий, с чужим отрешенным блеском.

И в этот краткий миг вспыхнут, будто янтарным лаком залитые, лесные озерины – так чист и гладок на них первенец лед.

Ждущая молчаливая стынь.

И только на реке, на самом ее стрежне, где еще недавно бился караван, идет неусыпная борьба тяжелеющего льда и течения.

Сопит, рушит, скребет... Но все слабее, глуше.

И вот в самый потаенный час полночи жиманет мороз едва ползущую, задремавшую было ледяную дорогу, хватит ее с обеих сторон, и все – крышка, до новой весны!

Ледостав.

Смелеют в стылой немоте ночи звезды. Дрема одолевает леса. Вялость одолевает в озерах рыбу. Колдовски блещет стеклянная полировка озерного льда, дразнит высокое стальное лезвие месяца. Кажется, все затаилось, прислушивается к молчаливому ходу ночи, ждет...

Осторожно, мягкой поступью выкрадывается на лунную мутно-зеленую полосу озера, будто на единственную просеку в ночи, в нетерпеливом любопытстве лиса. Нюхает призрачный лед, озирает всю его темную пустыню, слушает.

– И чу! – откуда-то, не понять и откуда, будто со дна озерной пучины нарастает странный непонятный гул. Он, как неуловимый и тайный дух, скользит, несется, едва касаясь гладкого льда. Все ближе, ближе... кажется, уже со всех сторон. И вдруг – Тааа-у!!! Как электрический разряд проскакивает что-то под пружинистой лисьей лапой. Вздергивается остроухая тонкая морда, но далеко уже черная молния трещины. И все равно хитрым зигзагом кидается ночная ищейка на спасительный берег...

И опять два зеленых призрачных огонька тлеют в прибрежных кустах, стерегут заодно с лунной страшный своей обманчивостью ледяной первопуток.

Ледостав...

* * *

А утром в отоспавшемся, отдохнувшем затоне закипает на несколько суток новая суматошно-праздничная жизнь – начинают «морозить рули».

Резок после жаркой, до кислоты прокуренной караванки ядреный, дрожью прохватывающий, морозный воздух; каменно тверд перемешанный за лето множеством сапог и ботинок сыпучий песок.

Спешно, весело идет на всех судах последняя приборка: парят, скребут, моют... Тушат котлы и печки, выбрасывают на лед остывающие угли. Спускают из уставших двигателей воду, подметают палубы, вымывают и протирают насухо трюмы – до последнего закоулочка!

Лишь после этого придирчиво принимается каждое судно строгой комиссией, сдается до новой весны затонской охране. И, как подписан акт сдачи, начинается на каждом холодеющем судне праздник. По мерзлым скрипучим трапам с бетонно твердых песков или прямо со льда лезут на свои катера старые капитаны, пропахшие маслом и гарью механики, молодые бесшабашные матросы.

Уже неуютно в настывающих кубриках и рубках, какими-то тайными щелями вытянуло из них тепло. Непривычно тихо на всем катере: нигде не капнет вода, не треснет грозой приемник. Катер будто умер.

Но команда на месте, в сборе.

Не произносится длинная речь, приберегаются до поры разговоры. Сосредоточенны, серьезны усталые лица. На любой посудине все ждут в этот момент лишь одной фразы, которую, как команду, произнесет старший судна – капитан или шкипер.

«Морозим рули!» – скажет он. И в ответ все разом вздохнут с облегчением.

Последний день навигации закончен. И с этой минуты все вроде бы уже и не на работе. А просто собрались свои, затонские люди, чтобы обсудить, подытожить навигацию, поговорить в открытую, все выяснить, успокоить на целую зиму душу.

И не важно, что нет такого закона в «Правилах плавания». Не внесен он пунктом и в «Судовой устав». Он родился сам по себе, живет незаписанным: о нем помнят и так.

Это случайно брошенное кем-то «морозим рули» звучит уже как символ. Тут, разумеется, и благодарность катеру за минувшее плаванье, и благодарность друг другу, и общая радость за добрый конец навигации.

... Все холоднее в кубрике, но все жарче подогреваемый разговор. И говорят уже не только о винтах, двигателях и ходовых знаках, а до хрипоты спорят, выясняют, много ли нынче в бору белки, чья лайка звонче одергивает ее воздушный скок, на какую блесну лучше берет в Ореховом озере полукилограммовый черноспинник-окунь...

И вот начинают переходить по льду с катера на катер. Идут и зовут друг друга в гости. С презрением к холоду распахиваются настезь иллюминаторы, нехотя лезет на мороз в их железные горловины табачный дым...

Незримо убрался ужатый морозом день. Цепенеет уставший отработавший караван. Тихо, успокоенно по лесам вокруг.

Но все скрипят, ноют в ночи промерзлые трапы, гулко отдают под сапогами железные палубы, волной вскипает призатихший было заполуночный разговор.

Ледостав...

Морозят рули.

* * *

Легкий весенний сон сморил исхлопотавшуюся землю. Нежилась в теплой темноте влажная хвоя боров. Мелко дрожали в журчащем сонном течении на разливах кусты, и отдыхали расслабленно в прохладе ночи усталые, высушенные годами суставы старушки-брандвахты.

Трое на ней – Федор, жена его и Семен – давно уже спали.

Поулеглось от воспоминаний на душе и у Стрежнева, сонно затуманилось его разгоряченное воображение. Он вздохнул, повернулся на другой бок и повыше подпернул колючее казенное одеяло.

Спи, капитан, – все твое, все с тобой.

4

Семен вытер ветошью руки, оглядел двигатель, спросил Стрежнева:

– Пробуем, что ли?

– Сейчас... – Стрежнев стал проверять краны.

– Да все открыто... Нажимаю.

– Сейчас... подожди, – сказал Стрежнев, – Жарко что-то, пойти наверх дохнуть, что ли...

Закури-и...

И он полез на палубу. Вылез за ним и Семен. Оба присели на фонарь, глядели на реку.

– Тихо, приморилось, – сказал Стрежнев. Он нарочно оттягивал время, думал: «А вдруг откажет... и поведут с позором в затон на буксире».

И для Семена запуск был тоже как экзамен. Однако оба старались скрыть свое волнение. Семен украдкой глянул на Стрежнева, но тот поймал его взгляд, понял по-своему.

– Кхы, кхы... пойдём, – сказал Стрежнев и кивнул на люк.

Спустились. Семен встал наготове у щитка приборов, сосредоточился, как верующий перед молитвой. Стрежнев молча качал масло, и стрелка манометра, подрагивая, помаленьку двигалась вверх. Вот она остановилась возле цифры 2, Стрежнев с натугой качнул еще раз и сделал шаг назад.

– Ну?.. – отрешенно сказал Семену. Семен вдавил кнопку стартера. Тяжело, медленно провернулось внутри двигателя.

Оба ждали: сейчас еще раз вздохнет, проворотит, стрельнет чихом и пойдет...

– Чах! чи-чша-ша-а-а... – виновато выдохнул дизель и стал.

Переглянулись, Семен опустил кнопку.

– Застыл, – сказал он. – Покачай еще масло.

Стрежнев покачал. Семен снова нажал кнопку. И снова три тяжелых оборота, и опять тяжелая тишина.

– Не возьмет, – заключил Семен.

Пробовали все подряд. Старались как можно больше облегчить двигатель: открывали клапаны, держали у решетки всасывающего коллектора факел – подогревали воздух... Но двигатель тяжело, будто хромой, едва волочился за стартером, наматывал его слабые силенки.

И опять проверяли все сначала: форсунки, насосы, угол опережения подачи топлива, фильтры, краны, солярку...

Все было исправно, но двигатель не подчинялся.

– И чего ему надо, уперся, как бык... – вздохнул Семен.

Оставалось непроверенным только газораспределение. И оба теперь думали об этом, но оба молчали, потому что не знали оба, как его регулировать.

А признаться было, стыдно. Стрежневу – потому, что не научился за всю жизнь делать этого, хотя капитану вроде и не обязательно. Семену же – надо было бы, да тоже не знал. Нет, знать-то он знал, но не надеялся, что справится один: не помнил всего толком, давно не приходилось. В двигателе это самая сложная, тонкая регулировка.

Наверху, где-то совсем рядом, возле катера, надсадно взревывал трактор. Вышли поглядеть. Трактор по другую сторону заливины устанавливал на гриве тесовую будочку на санях. На боках ее висели спасательные круги.

– Дожили, – сказал Стрежнев.

– Чего это? – спросил Семен, разглядывая приехавший домик.

– Будка для перевозчика, завтра на лодке возить будут... время-то – май. Весь мир через реку повалит – стыда не оберешься, стоим, как памятник, накрасились.

Они снова спустились в машинное, теперь пробовали по-отчаянному, уже не жалели аккумуляторов. Пытались и с факелом, и без факела, с клапанами и без клапанов... Но так ничего и не добились, только заметно «посадили» аккумуляторы да измучились сами.

Больше не ругались, не строили никаких догадок. Молча захлопнули машинное отделение, а потом долго сидели на скамейке перед рубкой, откинувшись на леера.

Снова был вечер. Тихий, мгlistый. Темнело.

Трактор ушел. Резал фырканием тишину далеко у поселка. Река посапывала у берега. Повыше по течению, за будкой, изредка всплескивали песчаные обвалы. Слышны были за рекой голоса ребятишек.

А они все сидели, тупо глядели перед собой на темную воду.

– Побрели? – Семен кивнул в сторону поселка.

Стрежнев тяжело встал.

– Пойдем, – сказал он. – Утро вечера мудренее.

Но мудрого в голову ничего не шло. Как Стрежнев ни думал, а все получалось, что надо завтра звать линейного и говорить ему о двигателе. Не хотелось этого Стрежневу, не хотелось кланяться, признаться в своем бессилии теперь, уж перед самым концом. И еще – он втайне, надеялся, утром, может, что-то и прояснится, всяко бывает.

Они сошли по трапу на берег, помыли, потеряли со скрипом мокрым песком руки. Стрежнев по привычке набрал в ладонку воды, хотел напиться, но вспомнил, что весна, вода мутная, и выпустил ее обратно. Он с трудом разогнулся и побрел поперек грив к огням брандвахты.

Семен отстал, но не окликал его, шел следом. Видел он в сумерках, что Стрежнев пошатывается, как после выпивки, а запястья его белеют: он так и не рассучил рукавов.

Опять взлетали с грив сонные чибисы, опять жалобились в темноте, но ни Семен, ни Стрежнев их не слушали, не жалели.

5

Утром в каюту зашел Федор.

– Поплыл я, сегодня уведут, – сказал он, не изменившись в лице.

«Ну, дождался, – с радостью за Федора подумал Стрежнев, – хоть поотойдет теперь, а то совсем потускнел».

– Так... отзимвал, значит, – сказал Федор, присаживаясь на стул. – Ждал, ждал, а теперь и плыть что-то неохота. Да и чего я там оставил? Жена здесь... весь с собой. Ну что ж, может, отвальную возьмем? – спросил с безразличием.

– Не время, – покачал головой Стрежнев, – с движком зашились совсем. Да и неохота. А ты запасись, дорога длинная... Тебе теперь можно, – не нам.

Федор еще больше насупился, не попрощавшись, вышел. Потом вернулся, сказал в открытую дверь:

– Мешки берите, все забирайте... Больше не увидимся.

– Да еще не уведут, прстоишь до завтра... Вечером и посидим. Сегодня, может, заведем, – стараясь загладить вину, сказал Стрежнев.

Федор ничего не ответил, но долго глядел на обоих, медленно закрывая дверь.

Аккумуляторы за ночь поотдохнули, схватили хорошо, и даже один раз вырвался из-под клапанов синий дымок.

– Может, раздышится, – в робкой надежде сказал Семен.

Однако с каждым пуском двигатель вставал все скорее, с шипением выдыхал воздух.

– Бросай, Семка, посадим аккумуляторы, – сказал Стрежнев. – Иди за линейным.

Семен пошел берегом. Олег на палубе наливной баржи что-то обсуждал со шкипером у раскрытого люка.

– Ну как? – увидев Семена, встрепенулся Олег. – Директор приказал сегодня же выпустить катер. Завтра праздник, говорит, на лодке людей перетопим.

– Не берет, – угнетенно ответил Семен.

– Не знаю, что вы там намудрили... Пошли.

Стрежнев так и сидел в машинном. Устроившись на перевернутом ведре, он разглядывал какую-то замасленную книжку.

– Что, Николай Николаич? – спросил Олег, спускаясь.

– Газораспределение надо регулировать... Гляжу вот руководство, подзабыл, – не поднимая головы, спокойно ответил Стрежнев.

– Ну, что ж, давайте разбираться, – Олег вздохнул. – Я тоже на память не помню. Ну-ка, покажи...

И он забрал у Стрежнева книжку.

Читали, крутили ломом маховик, подкручивали клапаны. Снова вращали маховик, спорили и опять брались за книжку...

А на берегу, у будочки, начиналось уже предпраздничное оживление. Даже в трюме им было слышно, как там смеются, играет гармонь, задорно фырчит моторная лодка, спеша переправить в обе стороны гостей.

Иногда над головами у них раздавались осторожные шаги по палубе, и вскоре в проеме люка появлялась любопытная физиономия, с извиняющейся улыбкой спрашивала:

– Поехали?..

Все трое поворачивались на голос, и, хотя никто не произносил ни слова, физиономия тускнела и тут же исчезала: так выразительны были их взгляды.

Во второй половине дня, все измазавшись, с газораспределением наконец покончили.

Двигатель зашевелился уже с другим, более мягким утробным звуком. Но тут же заноровился, отвечал совсем коротко, будто огрызался на своих хозяев за их неумение и надоедливость.

– Аккумуляторы... – сказал Олег, не глядя на Семена и Стрежнева. – Новые батареи посадили, дорвались без толку... – и полез наверх. Молча, с виноватым видом поднялись и Семен со Стрежневым.

Какая-то тетка подошла к трапу и, взмахнув рукой, решительно сказала Стрежневу:
– Дяденька, вези! Глянь-ко, нас сколь... Скоро ли на этой лодчонке?

Толпа, прислушиваясь, смолкла.

– Не готово, – ответил Стрежнев.

– Ну, так что, плаваешь ведь, вези, – настаивала женщина. Стрежнев горько улыбнулся.

В толпе кто-то сказал:

– Искра в воду ушла.

Несколько человек засмеялись, а другой голос добавил:

– Всегда у них так. Всю зиму на ремонте, а как лето – опять ремонтировать. Дурака валяют...

Стрежнев передернул плечами и перешел на другой борт. Семен зачем-то побрел в рубку, а Олег опустил в машинное, снова попытался пустить двигатель.

Стрежнев с Семеном хоть и не видели друг друга, а в позах и во взглядах было у обоих такое, будто они напрягались вместе с двигателем и хотели помочь ему всей душой и телом.

После третьего оборота двигатель устало испустил дух, будто прошептал: «От-ступиии-теееес...»

– Все, – тихо сказал в трюме Олег, но Семен и Стрежнев его услышали. Он вылез наверх. – Завтра от директора головомойка будет. Нужны дополнительные аккумуляторы... Может, на электростанции раздобудем?

Механик электростанции аккумуляторов не давал. Пришлось звонить главному инженеру на дом, чтобы он разрешил. Потом еще раз пришлось звонить ему же, чтобы в гараже выделили машину везти эти аккумуляторы.

Нагрузились и выехали уже в сумерках. На размокшей дороге заносило, встряхивало. Возле склада горючих материалов в черной страшной луже сели – ни вперед, ни назад! С машины сошел и выбрел на берег только Олег в сапогах с длинными голенищами. Потом он вернулся, на себе перенес Семена. Снова пошли в гараж, просили трактор, не скоро вызвали из дому тракториста...

Добрались до катера совсем ночью. Немой, виноватый, он все так же дремал у ночной гривы. Берег был совсем пуст, в будке не светило и огонька.

Пока сгружали, пока по трапу затаскивали аккумуляторы на палубу, а потом спускали их в трюм, Стрежнев все время ругался. Он проклинал не только эту весну и начальника, а всю свою жизнь... Отводил он душу и после, когда ночным, чавкающим под сапогами лугом брели они снова с Семеном на брандвахту, которая уж обоим осточертела.

Семен же ничего не говорил, только время от времени ожесточенно сплевывал на сторону. И Стрежнев даже сквозь зло удивлялся его терпению, не мог понять, что за каменная натура была у Семена.

А Семен проклинал себя, что не уехал в Тюмень вместе со всеми, сразу после смерти Панкратыча.

Когда в темноте добрались до старицы, брандвахты не было на месте. Была пустая вода и вокруг ночь. Даже сесть было не на что.

– Так ведь Федор и говорил утром-то... Как это забыли? – удивлялся Стрежнев. – Да ну, как не забыть – весь день в таком аду.

– На катер надо, – сказал Семен.

– Замерзнешь, не топлено... И дров, дураки, не заготовили.

– Ну, пошли в поселок, в общежитие, к линейному.

– Спят все. Булгачить-то... Да, наверно, и места нет. Кто нам припас? Пойдем вон в контору хоть, на столах переночуем, немного осталось уж, – сказал Стрежнев.

– Все равно, на чем, – согласился Семен.

Пожилая сторожиха открыла им, и они поднялись на второй этаж. В конце коридора возле окна стоял стол.

– Вон ложись на стол-то, а я на полу, – сказал Семен и лег возле стены. Потом одумался, встал и перешел поближе к печке. Положил под шапку два полена и затих.

Стрежнев развернул возле окна стол, снял с себя фуфайку, сунул ее в изголовье на подоконник и тоже прилег.

Уснули быстро. И, когда поднялась к ним снизу сторожиха, они уже ничего не слышали. Она поглядела, потом сходила вниз и осторожно подсунула под голову Семену какую-то одежку.

Часа два от силы спал Стрежнев. Среди ночи он неожиданно очнулся не то от увиденного во сне, не то от предчувствия – казалось, все гибнет, вся жизнь, и надо вставать, что-то делать. Скорее, а то...

Нет, ничего страшного не было. Было просто наваждение – все та же неотступная дума, что последняя навигация кончается.

«Но не жизнь же... – подумал с радостью Стрежнев. И удивился, что не смог этого осознать и различить до сих пор. – Просто вышли годы, отплавал сколько положено, и все! Закон для всех. А уж сколько буду жить, это мое дело. Тут мы еще подумаем... – рассуждал он, сидя на столе и закуривая. – Что ж, на берег так на берег. Не я первый. Только никогда не думал, что так тяжело... Или время такое? А и на самом деле, что делать-то буду? Куриц гонять по огороду? За грибами, за черникой ходить с Анной?.. Та-ак...»

И он представил, как будут они рано утром приходить вместе с Федором к караванке на берег, где собираются перед выходом в рейс все капитаны и шкиперы. Курят на скамейке, спросонья зевают, глядят на притихший затон, на свои катера, на которых матросы уж растопили печки. Все ждут последних указаний начальства, звонков из диспетчерской...

Потом, уяснив все, капитаны один за другим, не спеша, вразвалку сойдут, разбегаясь ногами по песку, к своим катерам, пройдутся для порядка по палубе, пнут что-нибудь походя, чтобы указать матросу: «Убери!» И все спустятся к двигателям в машинные отделения.

Бодро схватятся, заурчат движки, все бойчее, забористее; зафыркает возле бортов вода от выхлопов... И один по одному отойдут катера от берега, развернутся и, разгоняясь, и все круче наводя волну, убегут, скроются за поворотом, и останется над водой в затоне только тающий легкий дым да пустая ненужная тишина.

«Ну, две жизни тоже не проживешь», – как бы оправдываясь, подумал Стрежнев и вздохнул.

Протопленные с вечера печи все больше нагревали контору.

Семен, как лег, не ворохнулся, спал глубоко дыша. А Стрежнев тихо ходил по коридору, думал. Становилось уже жарко, он расстегнул китель, а потом подошел и распахнул окно.

Совсем рядом возле окна думали старые понурые сосны, мирно переливался ручей, стекая по их корням с яра. Тепло было.

Стрежнев слушал ночь и старался представить, какая она, весна, на берегу вся целиком. Он думал, взвешивал все весны, какие помнил, и выходило, что они очень похожи. Почти всегда, как только проурчат в верховья катера, безудержно прибывает в реке вода. А потом за две недели отгорланят по низинам загоры, отворкуют в мягкие теплые ночи обессиленные ручьи, подсохнут по боровинам рыжие вилочки палого игольника. И за какую-нибудь ночь разом брызнет из голой, еще холодной земли первая зелень. Любопытные зеленые клювики проткнут прошлогоднее мочальное сплетение трав. Калужница бодро расправит в холодной воде лугового залива широкий, в ладонь, лист и зацветет под водой желтым наивным цветом...

А там, дня через три, по тонким обвислым, как шнурки, ветвям, глядишь, кинет зеленые копейки береза, и где-то в глубине бора закукует первая кукушка.

И так каждую весну. Сколько их прошло, этих весен, не помнил Стрежнев. Да и не считал он их, некогда было: все бегом, все второпях, поесть – и то на ходу. Не скажи бы нынче осенью в кадрах о пенсии, так и не знал бы, запутался, вспоминая...

За окном уже побелело, и было так тихо, что казалось Стрежневу, будто слышит он, как осторожно тянут из земли соки старые сосны и тихо потрескивают, расправляясь, их оживающие верхушки.

Он снова прилег на стол. И только забылся, как голую притихшую землю ошпарило первым теплым ливнем – тайным, без грома, но щедро и благодатно.

Отдавай чалку!

Не долго пришлось им спать. Но проснулись они бодрыми, будто тайный дождь смыл у обоих с души последнюю тяжесть.

В окно тянуло свежей умытой хвоей, прелью оживающей земли.

...Старая проторенная тропинка к катеру. Знаком каждый кустик, каждая заливинка.

Вот и последний раз шли они этой дорожкой, последний раз вспугивали тонкоголосых куликов.

Каждый думал о своем, а по сути дела об одном и том же: что уже никогда в жизни больше не придется им ремонтировать здесь не только этот катер, а и никакой другой. И берега, и катера, и люди – все будет другое.

Стрежнев походя гладил мокрые кусты дубняка, как бы говоря: «Расти, расти...» Вроде искал себе новых береговых друзей...

Оба думали и даже были уверены, что сегодня наконец дизель заведет и ходить больше сюда будет незачем – надо обживать катер.

Олег в это утро опередил их – сидел на палубе, ждал.

Быстренько подключили привезенные аккумуляторы, Олег сам покачал масло и коротко, не глядя ни на кого, сказал:

– Пробую.

Двигатель дернулся, недовольно фыркнул, но могучая сила двойных батарей поборол его норы, наддала так, что от цилиндров просочился дым. Один цилиндр хлопнул, другой и... раскатилось!

Новый густой звук, дружная сила ожили внутри машины. Теперь дизель сам неудержимо рвался вперед, пожирая солянку, масло... Задрожали слани, переборки, стекла на фонаре. Цилиндры требовали все больше горючего, тая в себе еще неведомую, сокрытую силу. Но Олег довел обороты до семисот и опустил руку. Он взглянул на Стрежнева с Семеном, и губы его невольно дрогнули, а глаза сощурились, и в них засветилось колючее мальчишеское озорство: «Вот как я!»

И Стрежнев с Семеном не сдержались – тоже растаяли в улыбке, но тут же спохватились, разом посуровели и стали ходить вокруг двигателя, озабоченно щупать его. Дотрагивались до труб, форсунок, насосов, заглядывали на щиток приборов, иногда подталкивали друг друга, показывая на то, на другое... Начался тот немой, понятный только механикам разговор, когда спрашивают и отвечают руками, улыбкой, пожиманием плеч или покачиванием головы – когда за каждым жестом скрыто понимание целой системы, узла...

Стрежнев достал пачку сигарет, и все молча потянулись к ней, наскоро вытирая ветошью руки.

Довольные, прикурили от одного огонька и, медленно выпуская дым, стали вслушиваться – «пробуя» работу двигателя на звук.

Семен сходил на палубу, проверил, идет ли за борт вода из системы охлаждения. Бежала.

Олег прибавил оборотов еще – отчаяннее заколотилось нутро машины; мельче задрожало все вокруг, и еще веселее стало всем. Теперь только пятьсот-шестьсот оборотов отделяли их от настоящей навигации.

И все-таки еще думалось: «Вдруг на следующих оборотах двигатель изменит звук, собьется...»

Поэтому все нетерпеливо ходили по машинному, ждали, когда поднимется температура воды, масла и можно будет испытать двигатель на пределе.

Однако двигатель прогревался медленно.

И Стрежнев не вытерпел, вылез на палубу. Он сошел на берег, отдал чалку, а потом, забравшись, выдернул и трап. И замер: в машинном прибавляли обороты.

Двигатель забирая выше, вдруг будто запнулся, – заколотился жестко, с болью. А ему давали топлива еще и еще...

Но он не захлебнулся, выровнялся, снова пошел мягко.

«Пронесло... критические обороты», – перевел дыхание Стрежнев.

Уже неразличимы стали отдельные стуки – все слилось в сквозной напряженный гул: звенит, тянет куда-то за собой, заражает своей прытью. «Поет!» – как говорят механики.

Стрежнев молодо распахнул рубку. Стрелка тахометра стояла возле полутора тысяч, без дрожи – обороты устойчивые. Термометры воды и масла показывали тоже норму.

Легкие, повеселевшие вошли в рубку Семен с Олегом. Стрежнев оглянулся, сказал с улыбкой:

– Ну, господи благослови, отходим! – И покатал штурвал вправо. Сбавил обороты, отдернул рычаг реверса назад и снова стал убыстрять двигатель. Теперь он работал на винт. Мутная вода со щепой и корками зашипела, полезла на берег. Стрежнев еще прибавил оборотов – катер пошевелился и тихо отошел.

Все дальше и дальше пятились от насиженного места и теперь навсегда оставляли этот приплесок.

Молча глядели на уходящий берег, и у каждого было что-то новое на душе, будто началась новая страница жизни.

А Стрежнев уходил не только от этого берега, он знал, что отчаливает от всех своих прошлых навигаций...

Катер выпятился к середине и развернулся навстречу течению. Стрежнев с силой крутил штурвал в другую сторону, перевел реверс вперед и медленно, но твердо, дал полные рабочие обороты. Катер лихорадочно зазнобило, вода под винтом зашумела...

Пошли полным ходом. Мерно и сильно работает двигатель; ровно гребет винт – не бьет; хорошо в воде сидит корпус: можно оставить штурвал – и катер не уходит с курса.

Стрежнев успокоенно, привычно глядел вдаль, видел разом все: и берега, и середину реки, и там, далеко у горизонта, лес, и каким-то особым, ближним зрением, видел нос катера, воду в воронках и рябь, что убегала под катер, под ноги, но не мог понять, чего же недостает, пока не увидел перед собой заржавленную лопухую гайку на стекле. Он открутил ее, потом другую и поднял лобовое стекло.

Холодный с брызгами ветер прорвался в: рубку, четче, прослушивался двигатель, сильнее зашумела вода возле бортов.

Олег с Семеном попятились к стенам рубки, а Стрежнев подался вперед и замер перед штурвалом в успокоенном сосредоточенье. Теперь было все на месте: именно живой реки – звука воды, ветра и открытого голоса двигателя – не хватало Стрежневу.

Теперь, глядя вдаль, он даже слегка улыбался, так внутренне, душой, – будто обманул всех. «Вон за тем поворотом будут створы, потом надо прижиматься к левому берегу, а там километра два серединой, потом...»

– Хватит! – прервал его думы Олег. – Давай назад, к перевозу... Хоть от директора пойду отвяжусь. Загрызли...

Первомай

1

Когда пристали у поселка, Олег спрыгнул на песок и ушел в контору к директору. Наискось пересекли реку, отшвартовались у свайного деревянного причала под церковью.

Теперь их жизнь замыкалась меж двух берегов, между селом и поселком.

Было еще совсем рано, доходил только восьмой час, но люди на берегу уже толпились: праздник! Увидев приставший катер, они не стали ждать лодку, а кинулись всей гурьбой к причалу.

Что ж, на берегу был Май как Май... И погода подлаживалась под праздник – вынырнуло в прогал облаков солнце, и день засветился, заиграл легкой весенней радостью.

Семен придерживал багром катер, и нарядные веселые люди сыпались к ним на палубу, смеялись, с удовольствием стучали о железо легкими ботинками, разбрелись по всей палубе, кому где нравилось. Жены придерживали своих мужей, чтобы они не касались рубки и лееров: краска еще не совсем просохла.

Пока снова перебежали через реку к поселку, Семен, наполовину высунувшись из машинного отделения, будто вытирал ветошью руки, а сам внимательно наблюдал за палубой, кабы кто не вывалился за борт. Матроса еще не было, не прислали из затона, и поэтому Семену самому приходилось подавать и заделывать чалку, возиться с трапом.

Из поселка пассажиров было мало: по привычке все шли еще туда, на луговой берег, где надрывно трещала мотором лодка.

На стоянке Семен спустился в кубрик, порылся в шкафу, пошел и поднял на кормовой мачте флаг.

Флаг был закоптелый, обтрепанный, прошлогодний.

– Постирать бы надо, – сказал Стрежнев, обернувшись к флагштоку, – экой срам повесил!

– Положено, – ухмыльнулся Семен, – по уставу... Сойдет пока... Мы и сами-то не больно красивы.

Только тут они оглядели друг друга и увидели, что оба давно небриты, в замасленных и изляпанных краской фуфайках, в затасканных до блеска штанах. Под глазами у обоих чернели от грязи и копоти морщины, руки в ссадинах, задубели...

Они усмехнулись, мысленно осуждая друг друга и ничего не придумали, как только закурить.

А на палубе все копился народ, и надо было скоро снова отчаливать.

– Семен, валяй в магазин, поесть возьмешь, – сказал Стрежнев. – Я пока рейс схожу и один... А потом гляди, собирайся помаленьку, если рассчитываться надумал... Да хоть скажешь там, чтобы мне кого-нибудь прислали. Матроса и то нет...

Семен в ответ что-то хмыкнул и ушел. Стрежнев завел двигатель. Только хотел отходить, увидел, как берегом, скособочившись, семенил по песку Горбов, на бегу размахивая руками. Пальто он сменил на плащ, но был все в той же шашке.

«Сейчас опять надоедать будет, – с досадой подумал Стрежнев. – Припрется еще и в рубку...»

Горбов, запыхавшись, тяжело залез на катер, и ему тут же уступили на скамейке место.

Стрежнев обходил глазами Горбова, а все же наблюдал за ним. Однако тот и разу не взглянул в сторону рубки.

«Не узнает, – подумал Стрежнев, – разве что не в духе...»

Он приоткрыл дверцу, попытал у стоявшего рядом парня:

– Что это начальник какой-то не такой... На собрание-то он выступал?

Парень усмехнулся, ответил:

– Не успел, сбросили!.. У всех, видно, терпенье лопнуло...

– Та-ак... – сказал Стрежнев и дал полные обороты.

Семей ждал катера, сидел на берегу один, А на другом берегу приставал к причалу пассажирский теплоход – шел первым рейсом в верховья.

Не успел Семен заскочить на катер, Стрежнев сказал:

– Потом поедем, с теплохода вон надо везти. Отдавай чалку, пошли...

На середине реки встретились со свежебелым теплоходом. Людей сошло с него не так уж много. Отдельно ото всех стоял речник в кителе и новой мичманке со свежим «крабом». Под мышкой он держал стянутую ремнем фуфайку, возле ноги его лежал тугой рюкзак.

Это был тот разжалованный молодой капитан Яблочкин, с которым Семен и Стрежнев ехали сюда зимой из затона.

Стрежнев узнал его сразу, и кольнула догадка: «Не ко мне ли?! Ишь как вырядился...»

2

Да, это была замена!

Капитан первым из пассажиров ловко прыгнул на катер, привычно кинул фуфайку на деревянный диванчик на борту и с рюкзаком на правом плече заскочил в рубку.

– Здоровы были! – бесшабашно выпалил он и протянул Стрежневу и Семену руку.

Стрежнев нехотя поздоровался, спросил:

– В гости... к кому? Капитан ответил с усмешкой:

– В гости... Работать к вам! Замена...

Стрежнев молча отвалил от причала, искоса поглядывая на капитана. Держался тот бодро и нагло, как показалось Стрежневу.

Семен ушел в машинное. А Стрежнев под ровное гуденье дизеля думал: «Семену, значит, замена. А мне, выходит, с этим оглоедом дорабатывать... Та-ак...»

«Нет, это он специально, – думал Стрежнев о начальнике, – нарочно подсунул мне. Да что ты будешь делать! Совсем хочет доконать, за человека не считает!..»

И Стрежнева слегка начало знобить.

– Хорошо ходит? – спросил новый капитан и нагнулся к щитку приборов.

– Хоро-шо... – с растяжкой ответил Стрежнев, в нетерпении глядя на приближающийся берег, будто там ждало спасение.

Когда пристали и люди поспрыгивали на песок, Стрежнев вновь отвалил, не посадив ни одного человека. Спустившись по течению ниже, за овраг, он ткнулся носом катера в грязь, чтобы никто скоро не добрался.

Семен удивленно заглянул в рубку, спросил:

– Зачем сюда?..

– Пообедаем... на спокойное, – ответил Стрежнев и заглушил двигатель.

Все спустились в кубрик.

– Ну, Семен, собирайся... Замена приехала, – сказал Стрежнев, усаживаясь за стол. – Давай наедайся в последний раз, да на тюменские харчи двинешь.

Семен молчал, пыхтя раскрывал ножом консервные банки.

Новый капитан развязал свой рюкзак, выложил на стол рыбу, несколько яиц, хлеб...

– Вот, давайте со сдачей-приемом... – приветливо улыбнулся он. – Только я за капитана приехал. Тебя меняю, Николай... Хватит, в матросах походил. За вас лето отхожу, да на Волгу подамся. Здесь ничего не выработаешь. Да и что за работа – по бревнам ползать, топляки считать. А на Волге со временем можно на большой теплоход уйти, там простор... Скажите спасибо, что вас снимаю с этого корыта. Вот лысый написал...

Тут он достал из грудного кармана листок и с важностью протянул его Стрежневу. Писал начальник, из затона:

*Стрежневу Н. Н. —
капитану катера «Д-9»
Николай Николаевич!*

Срок Вашей работы на флоте кончается 2-го мал с. г. В кадрах ошиблись, поэтому высылаем замену – капитана Яблочкина. Сдавайте ему катер по акту и можете возвращаться в затон. Проводим Вас на заслуженный отдых, как положено.

Матроса и механика подыскиваем. Скоро направим. Маслов С. пусть пока работает, ждет.

Начальник Транспортно-ремонтного участка —

Чижов.

– Ясно... – сказал Стрежнев и подумал: «Что ж, выходит, опять выехали на мне. Знал, кого посылал. Другой наремонтировал бы ему...»

Нет, письмо начальника не обижало, обижало другое:

«Сколько труда – и отдать все вот этому... И Семен уходит. Вот так оно и получается: кто-то всю жизнь лямку тянет, а кто-то всю жизнь нахребетником едет. И везет ведь им! Да и начальство потакает! Вот он сидит – чистенький с розовыми ноготками. Зиму отоспался и на – тебе, катер готовехонек, опять ломай...»

– Ну, давайте... – сказал капитан, в нетерпении поднял свой стакан, – сегодня Май, что ли...

– Валяй, валяй, глотни, – подбодрил нового Семен, – мы на вахте...

– Ну, за ваш катер! – сказал Яблочкин и выпил. – Как отремонтировали-то? Все?.. Я вот еще думаю, стоит ли принимать-то на свою шею это корыто. Погляжу... Скоро с верхов катера будут приходить. Кто-нибудь погорит... Это уж точно! Не на этот, так на другой поставят. Куда они денутся?.. Капитанов-то нет!..

Стрежнев едва сдерживал себя.

– А ты – стервятник, – сказал он Яблочкину, глядя, как тот чистыми пальцами раздевает яйцо. – Добычи ждешь?..

– А что? Надо жить, вывертываться!.. Дураков нынче не стало, – усмехнувшись, ответил Яблочкин, пододвигая к себе другой стакан, – все едут, а тут пропадать, что ли?

«Так, значит, для тебя ремонтировали, страдали?» – подумал он. И тут же резко встал, неловко толкнув весь стол. Он забрал консервную банку, бутылку воды, что принес Семен, и молча ушел наверх, в рубку.

Не хотелось заваривать новой каши – ведь уж отработано все. Вышел срок! «Пусть, как хотят, – подумал Стрежнев. – Сам черт не разберет, что делается. Но мне-то за какие грехи?!»

Семен тоже пришел в рубку. Видно, и ему было не сладко с новым капитаном.

Трудно, неуютно прожили они эту весну, но такого исхода не ждали. Что-то было не так, что-то надо было делать? А что? Обоим бросить катер, возвращаться в затон? Было жаль... и не только катера.

«А может, в самом деле плюнуть на все? – успокаивал себя Стрежнев. – Ехать домой. Там дочь Нинка приехала из института, лимонов привезла... Отоспаться, помыться в бане...

А начальнику сказать, пусть Семену скорее замену шлет. Да, так и сделать. Надо составить акт, позвать Олега, подписаться всем и – марш!.. А Семен как-нибудь дня-то три перетерпит. Акт старый валяется в тумбочке. Переписать, проверить, что совпадает, и все! Пожалуй, так и лучше. Пойду за линейным...»

Стрежнев завел двигатель, спустился еще ниже, чтобы поближе к конторе быть, пристал. В рубку поднялся из кубрика Яблочкин.

– На, плавай... – сказал ему Стрежнев и скорее шагнул из рубки.

Семен удивленно глядел на Стрежнева, не отставал от него.

– Акт будем оформлять, – пояснил ему Стрежнев. – Да подписывать надо... Пойду за Олегом.

Яблочкин встал к штурвалу, а Семен подал на берег трап и попридержал его, когда Стрежнев спускался, тяжело прогибая доски.

Пошел Стрежнев по луговине, услышал, как зафыркал, отваливая, катер, и не вытерпел, оглянулся.

Сиротой сидел на палубе Семен, он даже не уходил ни в рубку, ни в машинное, глядел вслед Стрежневу, будто провожая его навсегда.

И так сжалось внутри у Стрежнева, что он запнулся на ровном месте, затоптался растерянно, ища, где бы сесть...

Катер развернулся, устремился на ту сторону. Разбежался легко, красиво, со стороны и не подумаешь, что почти калека.

И Стрежнев присел на камень, следил за катером, не зная, как быть. Жаль ему сделалось отдавать его в эти руки, жаль Семена... Жаль было и еще чего-то...

А вокруг был тихий солнечный полдень. Здесь на берегу, за огородами и банями, не дуло, как на воде.

И Стрежнев сидел, грелся на солнышке, глядел вокруг: на церковь за рекой, на сиреневый березовый лесок внизу, в изгибе реки. Слушал, как там ремонтировали боны сплавщики – потюкивали топорами, и удары, усиливаясь берегами, отдавались, как в пустом.

Все было свое, родное...

* * *

Линейного Стрежнев не нашел, но, когда вернулся на катер, сказал в рубке, что тот скоро придет.

Яблочкин был в распахнутом кителе, уже освоился, – ловко раскручивал штурвал, отчаянно дергал рычаг реверса и, как бы хвалясь перед пассажирами, покрикивал на Семена: «Убирай трап! Отдавай чалку!..» И тут же, не дожидаясь, когда Семен справится с тяжелым трапом, отходил от берега.

Семен зло грохал о железо палубы трапом и сразу скрывался у себя в машинном.

Стрежнев опустил в кубрик. Надо было писать акт, а не писалось. Он взял с дивана свой рюкзак и стал в него складывать связанные валенки, мыло, полотенце... Потом достал из ящика тумбочки свои личные гаечные ключи, отвертки... Задумался: «Может, оставить?.. Нет, не оставляю, другому бы кому, а этому не дам... Семену? Ему тоже не надо, тоже уходит...»

В нетопленном еще ни разу кубрике было сыро, холодно, пахло непрсохшей краской, уробным духом железного, всегда погруженного в воду жилища.

Только сейчас заметил Стрежнев всю неприбранность, сумрачность кубрика. Да и везде, на всей земле, казалось, сейчас так же холодно, неуютно-сыро.

Ему все еще не верилось, что вот он как-то сразу, будто шутя, стал свободен, и с него больше никто ничего не спрашивает и не спросит. Там, наверху, работает уже другой. И катер

теперь тоже уже как бы ничейный, чужой, – и он, Стрежнев, к нему не имеет никакого отношения.

Оставив раскрытый рюкзак на краю стола, Стрежнев отвалился на спинку дивана, задумался.

«Да, все-таки это была жизнь! На реке, на людях – среди шкиперов, сплавщиков, капитанов... Среди понимающих людей! Как легко спится на своем катере возле открытых иллюминаторов в теплую летнюю ночь, как легко и приятно пробуждение!.. Вставать можно без спеха, спокойно попить чаю, а уж потом идти наверх, на палубу. Поздороваться, поговорить с капитаном-соседом, глядя на сонные, ночующие рядом другие катера... Прочсть вечерний рейсовый приказ, прижать его в уголке рубки рупором, чтобы не сдунуло со столика ветром и привычной ошупью найти кнопку стартера... Выпятившись на фарватер, плавно прибавлять обороты, чувствовать, как мягкий ветерок все свежее, настойчивее пробирается под накинутую на голое тело, постиранную с вечера спецовку... Нет ничего лучше этих ранних выходов в рейс, когда хорошо выспишься, когда еще не так жарко солнце.

Все еще в ночном покое, хотя совсем светло, а ты уже бежишь серединой реки, уже в деле. Матрос внизу варит уху, и из кубрика пахнет лавровым листом, а в раскрытую дверь рубки тянет гарью выхлопа или нанесет от берега, от плотов томной гнилью – преющей в теплой воде сосновой корой...»

Резкий неожиданный удар свалил Стрежнева на диван, слетел со стола рюкзак, зазвенела, покатила под печку кружка. На палубе вырвался женский визг, торопливо затопали над головой по железу...

Стрежнев как ошпаренный вылетел наверх.

– Что?!

Метнул глазами по палубе: народ с носа торопливо спрыгивал на бревенчатый настил причала, и, как бы извиняясь за свой испуг уже смеялась, видимо, вскрикнувшая женщина. Выпрыгнув на мостки, она поправляла юбку, оглядывалась на катер, а капитан, снисходительно улыбаясь, спокойно вращал штурвал, не сбавляя оборотов дизеля.

– Ты!.. Что?! – задохнулся Стрежнев. – Перетопишь! – Он даже не мог говорить. – Корпус гнилой... Заварен!..

– А-а... чего ему будет?.. – ответил Яблочкин, намереваясь подойти в другом месте – поближе к свае. – Обтерпится...

– Ах, сволочь!! Обтерпится?! На берег убирайся! Не жаль – чужое?.. Не получишь...

Стрежнев выскочил из рубки, схватил со скамейки капитанову фуфайку и зло швырнул ее на причал.

– На!.. – А больше не знал, что и делать.

Обескураженный Яблочкин заглушил двигатель, замер у штурвала. Люди, не оборачиваясь, уходили по берегу, галдели.

А на катере стало непривычно тихо. Стрежнев разом остыл, растерянно стоял посреди палубы.

Катер медленно разворачивало течением, клало бортом вдоль причала и постепенно оттягивало вниз. Между крайним помятым бревном и привальным брусом катера тягуче-долго росла, ширилась щель.

И все молча глядели на эту черную растушую щель: глядел Стрежнев, глядел из рубки Яблочкин и, как разъяренный зверь из норы, наполовину высунувшись из люка машинного, пожирал взглядом эту щель Семен. Обтянувшиеся черные скулы его затвердели, и, казалось, он готовился к решительному прыжку из своего укрытия.

А щель, как громадный черный удав, на глазах у всех жирнела, раздувалась...

Семен, глянув на бледное, жалкое лицо Стрежнева, не вытерпел, пружинисто выскочил из люка и молча прошмыгнул мимо Яблочкина в кубрик. Он вылетел оттуда с мешком капи-

тана и с носа кинул его далеко на причал. Мешок глухо ударился и чем-то надсадно крикнул изнутри.

Теперь оба молча глядели на Яблочкина, ждали.

Наконец со злостью пнул дверь ботинком, он оттолкнулся от леера, и выскочил на причал.

Семен молча встал на его место к штурвалу, и катер на полных оборотах кинулся наперерез реки.

От берега и до берега он летел как нахлестанный, будто гналась за ним – хватала из-под воды за винт нечистая сила.

Вслед за весной

1

Как быть дальше, оба не знали. И не говорили об этом. Ходили от берега до берега, и каждый, молча, без суеты делал свое дело: Стрежнев стоял у штурвала, Семен управлялся с чалкой, трапом, помогал при посадке и высадке старикам, женщинам... Обоим было как-то неудобно, вроде стыдно друг перед другом. А в душе, каждый про себя все же радовался.

Семен не заходил пока к Стрежневу в рубку, но мельком, встречаясь взглядами, они старались угадать, что думает каждый.

Так и плавали, пока, зная, что весь разговор будет потом.

За полдень увидел Стрежнев среди пассажиров парнишку, как будто знакомого. Пока вспоминал, кто он, чей, парнишка прыгнул на катер и прямо с чемоданчиком и сумкой вошел в рубку, поздоровался.

– Не из затона? – спросил Стрежнев.

Тот утвердительно кивнул головой, сказал:

– На ваш катер... матросить послали.

– Ладно, давай, – мягко сказал Стрежнев и тут, только вспомнил, что это Мишка – прошлогодний матрос Ивана Карпова.

Стрежнев был рад, что наконец появился свой, затонский человек: хоть как-то развеет тяжесть ссоры.

– Ну, что там нового в затоне, давай расскажи веселенькое...

– Все по-старому... Вчера дядя Федор умер, с третьей брандвахты.

– Как?! – вздрогнул Стрежнев, и руки его опали. – Ты что!.. Врешь?..

Он в упор глядел на Мишку.

– Днем брандвахту привели в затон, вечером он сходил в баню, а ночью и умер, – сказал Мишка.

Штурвал, оставшись на свободе, покрутился, покрутился и замер. Катер полого загибал по дуге книзу.

Стрежнев сбросил обороты до малых, потом ослабевшей рукой стал выравнивать катер. Он поставил его против течения и работал так минуты три. Почти стояли на месте, едва одолевали течение.

Мишка удивленно и виновато глядел на большого и такого беспомощного в затасканной и заляпанной краской фуфайке Стрежнева.

С палубы, наклоняясь, заглядывали под стекло в рубку, пытаясь угадать, в чем дело. Но Стрежнев не замечал этого.

Так на малых оборотах он и шел до самого берега.

Не понимали и на берегу: шел, шел катер, и вдруг его будто парализовало середь реки. Когда причалились, Стрежнев слабо махнул рукой, отдал штурвал Семену, а сам медленно, не сказав ни слова, стал спускаться в кубрик.

Он откинулся на диван, глубоко вздохнул и начал расстегивать крючки на воротнике кителя, потом – фуфайку и все пуговицы кителя, и сидел так, покачиваясь, поглаживая большими руками затасканные до блеска на коленях штаны. О шапке забыл, не снял.

Казалось, жизнь остановилась, повисла в воздухе и раскачивается, будто маятник: туда, сюда... В обе стороны одинаково-равнодушно, будто ждет чего. И оно вот-вот придет, ударит – и полетит все к черту вверх тормашками!..

«Та-ак... Значит, – внук по дедушку пришел... Скоро...»

Стрежнев вспомнил, как Федор заходил к ним последний раз, долго, нехотя закрывал дверь. Теперь закрыл... Причалил...»

После того, как тонули все вместе на катере в родном затоне, Федор всю жизнь проплавал шкипером на барже. Не однажды приходилось буксировать его и Стрежневу, часто зимовали по соседству, вместе ходили на сенокос... Так с того первого катера жизнь их и текла рядом, только Илья отделился, зиму и лето скрывался где-то в конторских кабинетах. Теперь совсем стал чужим... Стрежнев не осуждал Федора за пожизненное шкиперство, но сам, думал, не вытерпел бы. Сам он был все-таки капитан!

«Но с чего это все началось? Когда?» – уходил Стрежнев мысленно к истокам своей долгой жизни, и вспомнилось ему одно летнее росистое утро детства. Такое давнее и далекое, словно было оно уже и не в этой жизни, а в какой-то другой, теперь уже напрочь закрытой.

Вспомнилось ему, как сенокосничали с отцом на раздольной речной Стрелке. Вот он, Николка, раскидал уже все копны на еще мокрую от росы травяную стерню, идет теперь за отцом следом, ступает по самому пласту, чтобы не наколоть ноги, зовет отца купаться. Но отец не спеша отирает травой косу и, наточив ее, молча глядит, как выходит из-за речного мыса буксир с баржой.

– Вот, как пароход поравняется, так и пойдем, – говорит он, снова заноса косу. Но Николка догадывается, что отец хитрит: просто к тому времени он как раз пройдет до конца прокос и окажется на самом яру.

И вот пароход шумит плицами рядом, а отец, не отрываясь, глядит на него с яру и говорит как бы про себя: «Живут же люди! Все у них приделано: ни косить, ни пахать... Сиди себе, покуривай... Хоть бы лето так пошататься, отдохнуть...»

Не успел, умер.

Не помнит Стрежнев, с того ли утра или от обиды, что отец не успел связать свою судьбу с рекой, но стал он упрямо выбираться к реке, флоту: ушел работать на сплав рабочим, потом поставили лебедчиком, был матросом и мотористом на катере. Затем – направили учиться на судоводителя. Так и покатила жизнь! Навигация за навигацией... «А дальше-то – теперь как? Неужели тоже скоро туда – на другой берег затона, где за ельником на пригорке приютилось затонское кладбище?.. Где уж много сверстников причалило к своему последнему берегу. Причалил Панкратыч, вот Федор... И стоят над ними, как неподвижные мачты, обветшалые кресты и пирамидки, ставшие от времени как будто тоньше и ниже. Без них уже бежит своим руслом река, бегут навигации...»

Летом за зеленью осинников и ольшаника не видно с реки этих крестов. Да и некогда глядеть – жизнь на катерах бойкая, суетливая, ночевать и то не всегда причалишься в затоне. А так – ткнешься носом катера где-нибудь, в берег, в кусты...

И всю теплую тихую ночь наносит с берега, от разогретой, бродящей в пластах травы, сладковатым, головокружительным запахом. Всю ночь, будто часы с заводом на целое лето, редко-размеренно одергивает где-то за озерком коростель.

Неприметно, день по дню, но все реже голоса, а потом и вовсе примолкают ночные птицы, затаиваются где-то, и лето как бы немеет, задумывается с легкой грустью.

А там, глядишь, будто желтым песком сыпануло на верхушку какой-нибудь одинокой березы, что на самом яру. «Значит, к осени дело», – приходит дума. Ну, и ладно, и ничего – опять плаваешь.

Медленно желтеют побережья, незаметно. Но однажды выйдешь после недельного пере-сменка поутру в рейс и ахнешь в душе – горят оба берега желтыми и красными лоскутами, будто веселый цыганский табор остановился возле реки, и кишит там неудержимое, отчаянное веселье. Шумит оно, переливается под свежим ветром – полощет свои лоскуты в прозрачной синеве и день, и три, и неделю...

А однажды... Плынешь с ночи той же рекой, мимо тех же берегов. Осторожно, как шторы, стаскивает с берегов утро белесые полотнища тумана, свертывает, убирает их на день в леса. И глянь – пусто на берегах, только голые сиротливые сучья задумались в плотном сером небе: снялись веселые балаганы! Крадучись, ночью... И ушли невесть куда по глухим тесным дорогам...

Сквозисто по берегам – будто обокрали реку. И тут же, словно этого только и ждали, начинают крепчать ветры. Налетают со всех сторон, раскачивают, лохматят волну, заглядывает она на палубу...

Все – еще одной навигации нет! Жди заморозков...

2

К концу подходил первый день их навигации. Такой длинный, что Стрежнев устал от него, как от целой навигации.

– Ну, вроде отмаялись, – сказал Семен, спускаясь в кубрик, – обезлюдело. Завтра надо заправляться, масло кончается.

Стрежнев не пошевелинулся, не поднял головы. Семен пригляделся к нему:

– Да ты это... не думай. Отплаваем.

– Собирайся помаленьку, да езжай завтра, – сказал Стрежнев.

– Вот переночуем, увидим... Давайте ужинать. Мишк! Растопляй печку.

Мишка спустился к ним из рубки, оглядел кубрик.

– Дров нету.

– На берегу поищи, – сказал Семен. – Вон топор возьми.

Стрежнев будто очнулся, глянул на топор в уголке.

– Федоров... топор-то.

Мишка ушел. А они сидели и молчали. В кубрике становилось сумеречно, долгий праздничный день отыгрался, заглядывала в иллюминаторы ночь. Однако Семен не включал света.

– Чалка хорошо заделана? – спросил будто издалека Стрежнев. – Где стоим? Не унесет?..

– Под церковью, за мостки спрятался – не прибойно.

Стрежнев вздохнул. Хотелось ему есть и спать. Больше ничего не хотелось. Только что-то вроде было не доделано. И он вспомнил.

– Рули будем размораживать? – спросил он Семена, хотя и этого ему не хотелось, но надо было хоть заикнуться для порядка: ведь капитан.

– Давай... – ответил Семен.

Стрежнев подал деньги. Семен поискал свои и ушел.

* * *

Когда Мишка вернулся с дровами, он увидел, что Стрежнев, сидя, спит, Осторожно, не стучая, Мишка затопил печку. Затем он сходил с чайником и набрал из ключа под горой воды. Потом еще раз сходил с ведром и поставил на плиту вариться в кастрюле картошку.

Стрежнев проснулся скоро. В кубрике было светло, чисто прибрано. От печки тянуло теплом, и дрова в ней стреляли, позванивала на кастрюле крышка. Хорошо пахло разогретой сохнувшей краской и дразнило нюх теплым картофельным варевом.

Семен налил по полстакану водки. Мишка поставил на стол рядом с хлебом картошку. Сидели, глядели на капитана.

Стрежнев снял наконец шапку, встал и, не подымая глаз, сказал сам себе:

– Ну, прости, Федюшка. Обидели и не выпили напоследок... Тихой тебе стоянки...

Он подумал еще и стал пить, медленно, долго. Семен тоже изготовился, тоже сказал:

– Да-а... Вот тебе и «студенты»...

Стрежнев дернулся, пролил по небритому подбородку вино, хлопнул о фанеру стола стаканом:

– Перестань!..

И замигал, стал усиленно нюхать хлеб.

– Ни-че-го... – сказал он после долгой тишины, как бы успокаивая и себя и всех. – Ладно...

Мишка неожиданно вскочил:

– Ведь конверт из конторы! Забыл в чемодане.

Одним духом он сбегал в рубку, притащил оттуда чемодан. Достал и подал Стрежневу запечатанный конверт.

Стрежнев разрывал его вилкой без волнения, безо всяких дум. Ему казалось, что теперь его уже ничем не удивишь – не огорчишь, не обрадуешь, что ни напиши...

Он развернул сложенную вчетверо бумагу. На ней был напечатан приказ по транспортно-ремонтному участку. Пропустив заголовок, читал глазами:

«...за успешное проведение зимнего ремонта на катере «Д-9» в короткий срок и в трудных условиях премировать команду катера денежной премией:

1. Капитана катера «Д-9» Стрежнева Н. Н. – пятьдесятю рублями;

2. Механика – пом. капитана Маслова С. А. – пятьдесятю рублями.

Приказ довести до сведения всего плавсостава.

Начальник – Чижов».

Семен внимательно следил за Стрежневым. Мишка, потупясь, глядел в стол. Он думал, что приказ этот о его назначении на катер и переживал последние неловкие минуты новичка.

Когда Стрежнев дочитывал приказ, рука его дрогнула, и он поспешно встал. Сунул бумагу под нос Семену.

– На!.. На закуску.

А сам тут же скорее пошел на палубу, в темноту, чтоб никто не видел его лица.

«Вот что делает!.. Да за что деньги-то? Будто не знает, что пили... Все знает! И тогда знал, только виду не показал... Да как не за что? Есть за что! Всю весну маялись. Или задабривает? А теперь будет просить, чтобы остался на катере. Так, а замену прислал! А может, специально прислал такого? Последний раз досадить. Но ведь больше-то и некого! Ну и ну!.. Из молодых, а ранний... А может, он ничего и не подстраивал мне? Сам я все выдумал. А?»

Эта догадка и обрадовала Стрежнева и вызвала у него горечь, обиду на самого себя. Он переступил с ноги на ногу, все думая и глядя в темноту.

Но ничего ему не было видно – ни реки, ни беретов. Створы и бакены еще не горели. Только далеко, в Сосновке, празднично помигивали белые мелкие огоньки электричества, будто иголкой потыкали там по черной бумаге.

Однако и в темноте чуял Стрежнев широкую жизнь реки. Унжа шевелилась, вздыхала. По ней еще несло всякий весенний хлам: на середине шуршало, всплескивало – тащило из какой-то заводи запоздалый лед.

«Нет, ничего он мне не подстраивал. Просто считает – как и всех. Мало ли хороших капитанов в затоне: Иван Карпов, Павел Андреев, Кусков, Ветров, Баженов... Не один я. Нет, видно, настоящий все-таки будет, пускай, что лысый: нутро есть, сердцевина, не Горбову чета! Ведь приказ-то правильный! Или мало возились! И тут не в полусотке дело. Э-х-хе... дурная голова...»

– Николай! – окрикнул из рубки Семен. – Пойдем в кубрик, чего тут мерзнуть?

«Да, вот и Семена надо отпускать завтра, пусть едет да расскажет там все. Сразу и замена новая будет – и ему, и мне. Надо уж сдать в надежные руки, чтобы не думалось. Да и куда торопиться-то, праздник прошел...»

Когда Стрежнев спустился в кубрик, Семен, сидя за столом, клевал носом, а Мишка спал на диване. Водка была почти допита, и это несколько удивило Стрежнева.

Семен, заслышав шаги по железу трапа, поднял голову, как-то по-новому глянул на Стрежнева, сказал:

– Ну, что?.. А говорил – рули размораживать...

– Так уж ты разморозил, – кивнул Стрежнев на стол, – вон, посуда-то пустая.

Семен, заметно хмельной, сказал небрежно:

– Это я за приказ... Хы, все это мура. В общем... правильно. Садись, чего быком ходишь. – Он разлил остаток по стаканам: Стрежневу побольше, себе поменьше. – Давай, сегодня нам положено. До утра проспимся, рано-то никого не должно быть. Чай, все с похмелья, не скоро проснутся. Ну, держи!

Стрежнев взял свой стакан, сказал, стоя:

– Ну, значит, рули так рули! Как все люди. И счастливой тебе дороги... Хоть завтра езжай. Я один пока, матрос есть. Вали, теперь отпустят. Скажешь там: «Ходит».

– А ты когда? – спросил Семен.

– А я подожду. Увижу. Да чего и на берегу делать? Со скуки подохнешь...

– Тогда давай за новую навигацию. Проплаваем... – как-то нерешительно сказал Семен, насупись, кашлянул.

– Не дури, езжай... – отводя глаза сказал Стрежнев. – Раз загорелось – вали, пока молодой. Давно знаю, что хочется тебе самому капитаном походить, на своем катере. Езжай, езжай, там дадут.

– Уехал бы... тебя как-то одного оставлять... Пришлют опять какого-нибудь шалопаю – замучишься.

– Недолго уж.

Быстро они размлели и от вина, и от жары. Да и много ли было надо: оба так вымотались за эту весну!

Засыпали прямо за столом, но все не вставали, а сидели, курили, будто встретились после долгой разлуки, и уходить каждому первым было как бы неловко.

Оба чувствовали, что-то не договорили и надо бы договорить, но что и как, не могли понять. Каждый ждал, что скажет за него другой, а усталость между тем упрямо вдавливала обоих в диван, мутила сознание.

Впервые снимали Стрежнева с катера в самом начале навигации. И было это как-то непривычно, неожиданно.

Недоумевал и Семен: все, чего они с зимы добивались, наконец сбылось, а удовлетворения не было, наоборот, как будто еще туже свилось все в один клубок: Тюмень, уход на пенсию Стрежнева и этот ненужный приезд Яблочкина, и новый начальник...

Так они и сидели рядом, будто загипнотизированные неведомой властной силой.

А было всего-навсего то, что вместе с весной неотвратно повис над обоими новый и главный закон, который был сильнее денег, обид, чинов... Это был закон их профессии, жизни – закон навигации. Он держал их на катере, требовал, чтобы они все вместе доработали на нем теперь навигацию до конца.

Верх печки стал малиновым, и им пришлось распахнуть один иллюминатор. Только теперь Стрежнев почувствовал, как сильно он устал. Ему казалось, будто он не спал всю весну.

И еще чувствовал он, что за эту весну сильно постарел.

Он ткнул заснувшего Семена в плечо.

– Не майся, ложись.

– А ты? – не открывая глаз, спросил Семен.

– А я пойду чалку проверю, да тоже лягу. Мишку разбуджу. Не бойсь... Иди, иди, отдохни.

Семен поднялся и, придерживаясь за шкаф, медведем полез за стол к другому дивану. Стрежнев вышел на причал, проверил, как заделана чалка. Что-то несла река в сплошной темноте. Совсем рядом плеснуло – видимо, льдина раздавила льдину. Катер легонько закачался, заводил огоньком клотика по далеким слабым звездам. Слышалось в вышине слабое свисывание, будто кто баловался там, махал гибким прутиком – это летели, торопились к родным местам последние припоздалые птицы. Летели они в ту сторону, откуда бежала река и куда ушли теперь вслед за весной все катера.

Спать Стрежнев, как и положено капитану, ложился последним. Это было уже привычкой.

Сойдя в кубрик, он поправил в печке головни, подкинул еще три поленца, дернул за ногу Мишку.

– Подъем, на вахту.

Мишка очумело сел на диване, уставился на раскрытую гудящую пасть печки.

– За печкой следи, – сказал Стрежнев, – я ложусь. Будет мороз – подымай Семена. Пусть движок погоняет, не прихватило бы.

И пошел в свой носовой кубрик.

Он развернул слежавшиеся квадраты простыней, застелил ими свой диван и впервые за всю весну лег с утихшей, казалось, невесомой душой. Знал он, что теперь его никто не разбудит, пока он хорошо не выспится. На Семена и на Мишку он надеялся, доверял им.

Он легонько прикрыл створки дверей и остался в сумеречной железной спальне один. Если считать по реке, то лежал он на самой воде головой к носу, а рядом, за стенкой, катилась весенняя шальная вода. В тишине все было слышно, что делалось там, за тонким бортом.

О железо иногда тихонько постукивало или начинало скрести вдоль катера, удалялось к ногам, к корме...

И Стрежнев определял: «Топляк, коряга... а это щепки или кора... Это ничего, пронесет».

Иногда наваливалась, подвигала весь катер к берегу и долго плотно шарила по борту льдина, и Стрежнев, прислушиваясь, напрягался, вытягивался всем телом, ждал, когда ее проташит. Он уже вроде спал, но все слышал, и это ему не мешало.

Потом послышались осторожные шаги по палубе, кто-то распахнул рубку и стал спускаться в кубрик. Засветил свет.

– Переночевать пустите? – робко приоткрыв дверцу в кубрик Стрежнева, спросил Яблочкин. Он едва стоял на ногах и обеими руками держался за косяки двери. Стрежнев не удивился и не разозлился. Он все приглядывался к нему из темноты, взвешивал.

– А то на берегу совсем окоченел... Завтра утром уеду.

Долго не отвечал Стрежнев, Яблочкин устал, и казалось, вот-вот упадет.

– Не жаль, ложись... – ответил наконец Стрежнев. – Диван пустой вон.

И Яблочкин, облегченно вздохнув и не закрыв дверей, шаркнул пятерней по выключателю и свалился, как мешок, на диван.

– Не проспи... с утра на вахту пойдешь, – громко сказал Стрежнев.

Было слышно, как в темноте Яблочкин привстал на диване, замер.

– Как? – спросил он не скоро и другим голосом. – А ты?..

И Стрежнев догадался, что Яблочкин вовсе не пьян, а притворяется, чтобы не так стыдно было. «Выходит и о причал стукнулся он не спяну... «Капитанов не хватает!... Ишь, на что бьет, все учел... Значит, подлец настоящий! Трезвый, с расчетом...» от этой догадки и от того, что лежит теперь Яблочкин рядом вот, за перегородкой, так мерзко стало Стрежневу, обидно за свое великодушие и минутную слабость, что он резко привстал на койке, закурил, снова ища какого-то выхода. Но выхода не было. Со всей ясностью осознал он теперь свое положение и понял безвыходность. Обида и зло душили его, был он теперь на собственном катере, как в ловушке, захлопнул которую своими же руками. Он снова и снова начинал думать, перебирать все, как же это вышло, но мысли текли по кругу, ничуть не сдвигали жизнь с места, как не сдвигают буксующие колеса застрявшую в грязи машину.

Так в мучении провел он, наверное, часа три.

Печка давно прогорела, и в кубрике наступил тот момент, когда ровное устоявшееся тепло незаметно сменяется на такой же ровный, быстро нарастающий холод. Стрежнев почувствовал приближение этого момента и понял, что вот-вот кто-то должен проснуться... уходили последние считанные минуты... Он маялся, торопил себя, уже почти решился... «Одна голова! ... одна голова в ответе! И всем развяжу руки... самое главное – Семену! Ведь видно, гложет его дума, но крепко, молчит. Что ж, езжай, вот он, момент!...»

Стрежнев решительно встал, быстро оделся, прошел к печке. Мишка спал, неловко избочившись на диване и по-цыплячьи склонив безвольную голову к острому плечу. В слабом отсвете догорающих углей он казался совсем еще ребенком, и Стрежнев пожалел его. Четыре березовых полена и сырая еловая чурка валялись перед печкой. Осторожно подхватил он все это, поднялся на верх и выбросил дрова за борт. Потом снял со сваи чалку, решительно шагнул к штурвалу и сильно вдавил кнопку sireны. Ликующе выплеснулся в дегтярную темноту ночи нарастающий вой. Почти одновременно выскочили трое из кубрика. Стрежнев не дал никому рта раскрыть, закричал на них во всю силу:

– На берег! Прыгай!.. а ну!... – и тут же запустил двигатель, чтобы никто ничего не спрашивал и не понял.

... Светало, слабый туман уползал с фарватера, застревал, как вата, в голых затопленных кустах. Привычно текла во всю ширь поднышавшая река и разливалась по этой шире новая чистая весна. В полоях перелетали ранние утки, величественно скользили. Подминая под себя гибкий кустарник, огромные льдины, крутилась в водоворотках пена...

Стрежнев следил за всем этим молча глазами, и казалось, что думал и жил сейчас тоже лишь глазами, поглощен был, как все рулевые и штурманы, внутренним разговором с самим собой.

Не испытывал он ни вины, ни угрызений совести за свою ночную выходку. Напротив, все уже казалось теперь далеким и мелким. К обеду рассчитывал он быть в Мантурове, закупить продукты, заправить двигатель и плыть дальше. Он почти не сомневался, что пошлют за плотом. «Директор сплавной конторы старый знакомый, почти друг, – раздумывал он, – должен мне дать для буксировки плот. Конечно, спросит документы, командировку... Скажу, ветром сдуло, в реку улетели... Поверит: я ему никогда не врал. Потом, конечно, узнает. Все узнают.

Но там уж будет другое... Авария может случиться, плот разорву или корпус пробью... Это хуже, тут уж мне оправдания не найти... Ладно, будь что будут – одна голова в ответе!..»

Иногда он думал о Семене, старался угадать, сразу теперь отвалит он в Тюмень или повременит, дождется его. Вспоминалось, как предусмотрительно выбросил ночью дрова, чтобы накинуться на команду, послать всех за дровами на берег. Сейчас казалось ему смешно, что выбросил-то последние поленья: мог бы сунуть в печь. Но выло все быстрее и проще. Когда сонные они выпрыгнули на причал, Стрежнев дал на ночной реке широкий круг, включил прожектор, ослепил их всех там на пустом причале, выискал прожектором на берегу подходящее место, подошел туда в темноте и бережно снес на голую холодную луговину все вещи команды. Крикнул им, чтоб забирали все, шли в затон, а сам развернулся и с глубоким облегчением двинул по реке вверх.

Примерно через час он пристал к берегу, поискал дров, заново растопил печь.

На восходе солнца он проплыл мимо Макарьева, опять видел с реки монастырь, березы, грачей... Судов у берега уже не было. Он вспомнил, как встретился здесь тогда, очень давно, с Анной и представил, увидел ее дома, как ждет она его теперь со дня на день, а он... Стрежнев, не стал приставать в Макарьево, а пошел прямо до Мантурова. Теперь все у него получалось согласно, хорошо: в Мантурове лишнему катеру обрадовались, сразу, как он и думал, послали за плотом в самые верховья, не спросили ни о документах, ни о командировке. И Стрежнев, боясь разоблачения и чтобы не передумали, сразу отвалил.

Он плыл весь день. Все чаще встречались катера, плоты, баржи... кое-кого он узнавал, махал из рубки, но не сбавлял хода. Река становилась все быстрее и уже, все величественнее и смелее подходили к самой воде сосны. В одном месте заметил Стрежнев притычки спрятанных в кустарнике вентерей: кто-то браконьерил. Он сбавил ход, проверил два вентера – попались щука и язь – наскоро поставил вариться уху, взял в рубку кружку с чаем и снова дал полный ход.

Скрылось за рекой, лесом солнце, тень от правого берега пала до середины реки, умиротворение нисходило на леса и воду, а ему все было мало дня. Впереди была ночь, и он знал, что не выдержит этой ночи без сна, но «потом, потом», – говорил он себе, и катер его летел навстречу раскрывающимся берегам. Он так ненасытно рвался вперед потому, что выстраданное нынешнее плаванье не принесло ему пока той знакомой до ликования радости, былого насыщения жизнью: что-то сдвинулось нынче в его душевном равновесии, он не хотел верить, что это навсегда, надеялся, что пройдет, стоит только забраться в самые верховья.

Река жила обычной навигационной жизнью, и все работавшие на ней люди были уже невидимо связаны меж собой многими нитями общего большого дела. Захлестывали эти нити постепенно и Стрежнева, но он из пока не ощущал: был занят собой. Он не знал, что мантуровский диспетчер давно уже позвонил на верховое плотбище, сообщая, что идет к ним на подмогу «девятка» с опытным капитаном... И там уже высчитывали время, кубометры, погоду – там с нетерпением ждали его, мысленно уже любили, как легко доставшуюся нечаянную подмогу... Но ничего не знали ни о его жизни, ни о его нынешней весне.

1976 г.

Не убежит река

Памяти брата Николая Николаева – судоводителя

*Шкипер – командир самоходного речного судна.
Словарь, русского языка*

Любого человека на реке понять можно, шкипера – никогда. Шкипер – человек особенный. Реку, посудину свою любит так, будто кто шепнул ему в тайный час на ушко: «Пусть ты любишь жену, мать, детей своих... Но реку будешь любить больше. Иди, иди к ней – и заберет она тебя, голубчика, всего целиком... И будешь ты у нее верный счастливый раб». Никому ни в чем он не подражает: ни капитанам, ни механикам, ни своему брату шкиперу. Учиться – учиться у всех, а подражать – боже упаси! Во всем он сам себе голова. Баржу свою и на час не доверит никому. Смотришь, бежит из столовой и жует на ходу, будто горит у него там на барже. А прибежит, усядется и до вечера «пальцем о палец не колонет».

Или другой пример. На собрании. Все уже сидят по местам, ждут, а шкипер стоит в дверях – одна нога здесь, другая там – докуривает свою «последнюю», уже третью по счету папиросу. В лучшем случае сидит прямо на полу – опять же поближе к двери.

– Что ты, Матвейч, садись поудобнее, – скажешь ему.

– Некогда, некогда... На судно надо бежать, – отвечает он в озабоченности.

– Да что у тебя на судне-то, котел или двигатель!

– А мало ли что? Без присмотра нельзя, – ничуть не смутившись, стоит на своем шкипер.

А потом дня три «гудит» на берегу, о посудине своей и не заикнется. Но зайди к нему на палубу и оброни мимоходом хоть спичку или бумажку малую, он тут же не преминет упрекнуть тебя: «Ты мне на палубе не сори!» – и обязательно служебным голосом, и обязательно во всеуслышание. Тотчас возьмет метлу и принародно решительно сошвырнет оброненную малость за борт. А рядом кучу своего мусора в упор не видит, будто бережет ее как невиданную драгоценность. И так во всем. И никогда нельзя угадать, чем шкипер живет, что у него на уме.

Никакой специальной школы шкипер не проходит, образование у него случайное, как правило, не высокое. Но попробуйте уличить его в незнании самой мелочи, пустяка, что касается судна и работы на флоте. О, не стоит и пробовать! «Правила плавания» шкипер знает не хуже капитана и штурмана. Судовой ход ему знаком так, будто однажды прошел он сухим руслом реки сверху до низу пешком и накрепко запомнил все перекааты и обрывы, ямы и свалы, гребенки и продери... Такого чутья к речному фарватеру и памяти такой, как у шкиперов, и у старых судоводителей наищешься. Знать все, что касается судовождения и судоходной обстановки, шкипер считает для себя святым долгом. Если не знает, то и работать на реке не станет, уйдет на берег. Но такого еще не бывало.

Но вот кончилась навигация. В затоне судоремонт. Как тут опять обойтись без шкипера? Особенно если дело касается ремонта деревянных судов. Тут одних названий уйма. Но спроси любого шкипера хоть среди ночи – и из него как горох из решета посыплется все эти бимсы, кницы, пиллерсы, баллеры, кильсоны, стрингеры, крамбалы, ошвы и озды, кони и румпели... Он будто вырос среди этих балок и стоек, безо всякого чертежа или схемы видит все это на месте, знает способ крепления, порядок разборки и сборки... Я не могу себе представить ни одной профессии на земле, где человек был бы так «многорук», как шкипер. Шкипер – это значит: кочегар, слесарь, матрос, электрик, плотник, маляр, кровельщик, такелажник, стекольщик, грузчик, стропальщик, кладовщик, приемосдатчик, табельщик, пожарник, механик, повар, рулевой – и все в одном лице. Я встречал среди них печников, столяров, портных, мастеров по ремонту ружей и часов, огородников, парикмахеров и даже... артиста. Все

шкипер постиг, все умеет. И ничего не делает! Будто ему до смерти надоело все, учиться на свете больше нечему, и вот он стоит на палубе и с неизбывной тоской глядит и на реку и на берег. Потом вздохнет и пойдет к себе в каюту спать. Завалится чуть ли не на сутки – тащи с баржи все (да хоть и саму баржу вместе с ним) кто хочет и куда хочет... Но не тут-то было. Не припомню случая, чтобы в дождь, в ветер, в самую глухую полночь шкипер не выскочил на палубу без шапки в одном нижнем белье, если к борту станет подходить какое-то судно. Не может он допустить этого. Чутьем чует приближение этого момента. И никогда его не пропустит. Кажется, только ради этого и живет и плавает. Он и только он должен принять конец и узнать, кто и зачем пришел. А выслушав, или пренебрежительно бросит конец в воду и уйдет досыпать, или широким жестом пригласит гостей к себе на борт.

Сколько ни пытался я объяснить, подчинить какой-нибудь логике жизненные и служебные устои шкипера – бесполезно. «Нестандартный народ! – как сказал однажды наш старый кадровик «папа Мячиков» и добавил, загадочно улыбаясь: – Изразцы чистой глазури!»

Откуда берутся шкипера? Это тайна, и ведал ею у нас только Мячиков. Как и всякий опытный речной кадровик, он знал, кого и на какую работу брать. Шкипер из тех, на кого покрикивают все, да за судно отвечает он один.

Вы думаете, легко устроиться шкипером? Идите, попробуйте. Во-первых, надо устраиваться вместе с женой, которая по судовой роли будет числиться матросом. Второе – чтобы сам шкипер видел реку не в первый раз, а был бы с нею на ты. Далее – у шкипера должны быть «умные» руки, потом – чтобы он не просто шел, а рвался бы на баржу, будто иного места на земле ему уже нет. И последнее – надо иметь особого склада характер. Тут уж Мячиков был особенно осторожен. Не один день морит «соискателя» в приемной, приглядывается к нему, испытывает в выдержке и терпении, пока твердо не убедится: этого можно!

Приняли. Уходит чета на судно. Как потом делят свои вахты шкипер и его жена-матрос, этого никто не ведает. Да и узнавать не следует: все равно ничего не узнаешь, а только оконфузишься. Как бы ни распекал шкипер своего матроса по линии служебной или как бы ни ругались они меж собой по делам семейным, а перед посторонним человеком оба враз вытянутся в струну и будут стоять за судно свое до конца, как за крепость. Не унижат его, не уронят в чужих глазах ни за что на свете!

Зимой – оба на берегу. Растят ребятишек – детей или внуков, в кино ходят, он рыбу ловит или в лесу работает, она по хозяйству. Но чуть весна – оба в затоне. Оба требуют свою посудину. И как получили – у начальства гора с плеч. Теперь они доведут ее до навигации сами – все подпишут, вытребуют, получают, устроят весь ремонт, успевай только отмахиваться от них. А уйдут из затона, и опять хоть до самой глубокой осени не заглядывай к ним на посудину. Если только не случится с ними что-то такое, о чем заговорит сразу вся река. А случаются с ними разные истории довольно часто. Да такие, что здоровой головой и не придумать...

Узнав о такой истории, любой начальник затона или пристани клянет шкипера на чем свет стоит, теряется в догадке, как его наказать, чем... Хватается за телефон, кричит, разнося кого-то в пух и прах: «Списать! Уволить... совсем!» Все будут причастны, все окажутся виноваты в шкиперовой беде. А с него самого – как с гуся вода. Попробуй, возьми его, приструни, если ему сегодня же в рейс – срочно, с ответственным грузом, на этой старой баржонке. Да кто ж на ней сплавает-то тогда, как не этот «разгильдяй», кто ее знает так до последнего гвоздя, как не он?

Но не всегда спасают шкипера срочные рейсы и родная баржа. И тогда чего только не придумывает администрация для исправления шкиперов; выговоры, штрафы, перевод на худшее судно, разжалование в матросы, подсобники, в грузчики... Всему покорится, все вытерпит. Месяц, два, всю навигацию будет терпеливо нести свой крест, но с реки не уйдет. Рано или поздно, а добьется возвращения на свою посудину. И только ступил на родную палубу – всё! Будто подменили человека. Тут же из обыкновенного серенького мужичонки вырастает

фигура, личность. И опять он сам себе хозяин, опять чудит, колобродит на всю реку – вытворяет, как велит ему его вольная душа. Непостижима и удивительна эта перемена в человеке. Но есть в ней какая-то тайная притягательная сила, а одновременно и великая горечь для начальства... И ничего тут не поделаешь.

Но бывает, подмахнет разгоряченный начальник бумагу на увольнение шкипера... И пойдет тот опять по инстанциям, пока не очутится снова в кадрах.

Только не уволит, не отпустит с реки настоящего шкипера Мячиков. Он знает, что штурмана, механика, рулевого или электрика добыть ему куда проще, чем настоящего шкипера. На механика или рулевого выучиться можно, диплом показать, а на шкипера школы нет. Да и можно ли выучиться этому в школе, тут надо с десятков ПТУ окончить. Или же принимай на работу сразу всех десятерых вместо одного.

У шкиперов свой университет – река и многие навигации. Кажется, они вобрали в себя весь опыт флота с бурлацких времен и до наших дней. Они – бесценная кладовая флота. Его вечные ученики и учителя. Наверное, как-то они и сами это чувствуют. Может, поэтому так независимо и держат себя. Хотя по званию на реке – как говорят они о себе сами – ниже шкипера только вода. Она-то, вода, их и спасает часто.

О них мало пишут, почти никогда. Они не избалованы вниманием прессы, телевидения, кино... Но, право, заслуживают того, чтобы рассказать о них хотя бы раз. О них и о тех, с кем они постоянно делят свои навигации, беды и радости... Но тут о каждом надо говорить отдельно, да еще и подумавши.

Была зима. Березы в инее, долгая тишина. И бесконечная дорога, которую одолевали мы с утра до вечера, добираясь в затон. Бежали вдвоем с экономистом Толей Осьмушкиным: он на свою службу в контору, а я с ним за компанию – хотелось увидеть его затон, окруженный лесом, суда, мастерские...

Была, конечно, и другая цель. Окончив речное училище, я успел уже поработать на реке (не на одной даже), да так, что мне до смерти надоело все на воде. Ушел на берег и вскоре понял, что без реки мне еще хуже. И вот я бежал на Унжу, уверовав в слова Осьмушкина, что на работу меня здесь возьмут «мигом». Был я молод, свободен, и вся ноша моя состояла из аккуратного чемоданчика да ветхого рюкзака, который истаскал уж я по охотам. Не без этой мысли нес я его и сейчас.

Слова Осьмушкина сбылись, на работу я устроился. И не заметил, как пролетели еще несколько навигаций. Счастливых навигаций, как я теперь понимаю.

Здесь, на Унже, судьба и свела меня со шкиперами. Я многому от них научился, немало хлопот принял, кое-что уже стерлось в памяти, но отдельные картины до сих пор стоят перед глазами.

Творец сияний

Навалился февраль. Глухо. Мертво. В глубоких снегах притаились леса, со всех сторон подступившие к затону. Заровняло реку заподлицо с берегом. Меркнет, едва набрав силу, дневной свет. И так все скучно, однообразно в приевшейся ремонтной работе, а тут еще и погода... Обездоленно и бессмысленно на белой земле. Не веришь в весну, не хочется вылезать на свет божий из цехов, уже миришься с шумом станков, со вьедливым запахом керосина и солярки. Живешь, будто ждешь чего-то. Команды судов выискивают любое дело, лишь бы оно было в цехе, в тепле, а не на открытой палубе. Знаем все это мы, мастера и механики, видим, да молчим: самого себя не знаешь куда девать...

В такую погоду лучше всего нырнуть от метели в теплую избушку Василия. Если идти берегом от затона, то по левую руку, в стороне от дороги (летом среди сыпучего песка, а зимой на белой нетронутой Палестине), и стоит в низинке его избушка. Пахнет у него там олифой и

краской, под потолком плавают сизый дым махры, а в печке потрескивают еловые поленья. Сам он или кисти моет, или старательно выводит на бело-красном круге название судна. Спасательными кругами и нагрудниками завалено у него полбудки от пола до потолка. Они и на улице – сложены штабелями возле стен. Улыбаясь, идет он тебе навстречу и делает в направлении стола широкий жест: «Закуривай, посиди...». На столе, на развернутой газете, вечная куча махры, которую едва ли покроешь шапкой. Она не убывает никогда. Курит Василий и сигареты, но за компанию предпочитает махорку. Он отрывает от газеты себе, гостю отрывает, поленце дров в печку подкинет, и начинаем беседу. Собеседник Василий неторопливый, сочувствующий. У него легкая душа и трудная жизнь. В молодости, говорят, он плывал рулевым на маленьком катере. Сам об этом никогда не вспоминает. Давно это было. С войны вернулся он без ноги, а с левой стороны и руку покалечило («Для симметрии», – смеется он). Долго болел, жена от него уходила, работу себе все никак не мог подыскать... Жизнь закалила его, сделала участливым к чужому горю. Кто ни заходил к нему, кто ни курил из этой кучи! В радости, конечно, заходит не каждый, а в беде – редко кто минует. И тогда нет слаще его махры, нет сочувственнее его слова. Сам он, несмотря на двойное увечье, на мир глядел светло и, я бы сказал, с ожиданием. А все от профессии шло, от работы его. Считал ли он себя истинным художником, право, не знаю, но то, что назначение свое в затоне мыслил высоким, – несомненно. По штатному расписанию он маляр, поэтому и избушку его называют маляркой. Каждую зиму он проверяет, заново красит и подписывает не одну сотню кругов.

– Как дышится, Василий Никанорыч? – кричу я еще от дверей, заскочив от пурги в его избушку.

– А что, дышу вот краской да олифой. Моя работа вредной не считается. Еще завидуют люди: «Легкая работа у тебя».

«Не в духе, видно», – думаю я, присаживаясь у печки.

– А тебе нравится?

– Весь я тут, хоть нравься, хоть нет. Не работать – так и не жить. Куда денешься.

– Покури давай, отдохни.

Он складывает в кучу кисти, вздыхает.

– И так уж дым из-под волос лезет, шапку подымает аж. Собака вон чихает. Лямка! Лямк... Ты чего? Голова кружится – у порога лежишь? А ну, иди, побегай, постряси блох!

Обижался Василий не часто, но по делу: хорошие кисти, краску и растворители добывал большей частью он сам, на свои собственные деньги, по разным городам. На складе затона товар этот появлялся редко.

В январе я бывал у Василия частенько, а потом на его избушке долго висел замок. Каждую зиму так – как начнутся метели и сделается Василию ходить на протезе трудно, он скучнеет, становится неприветлив, груб. А дальше – из затона пропадает вовсе. Недели две-три не только его, а и черной собаки Лямки нигде не видно. «Впал в спячку», – шутят в это время капитаны. Разные были толки: иные говорили, что в феврале он ежегодно крепко «по плану» запивает, другие утверждали, что сидит-де дома и запоем читает книги. Признаться, я никогда не выпытывал у Василия подробностей его таинственного исчезновения, но то, что человек он был начитанный, – это точно. Он и сам говаривал не раз, что книг у него полно, есть даже целый, штабель старинного журнала «Нива». Возможно, на это время он оформлял себе отпуск и читал в свое удовольствие. Возвращения Василия ждали, ждали как хорошей погоды. Это и было похоже на перелом зимы. Однако свой срок он выдерживал.

Когда стихала метель, а на дальнем закрайке неба над заснеженными лесами проглядывал вдруг такой забытый и чистый лоскуточек неба, что щемило сердце и снова хотелось жить, Василий неожиданно объявлялся. Весь какой-то праздничный, новый, он открывал двери своей «художественной академии», расчищал дорожки, покрикивал на Лямку, носил дрова, воду...

И вот над черной покосившейся трубой уже весело завивается белесый дымок. Отпаренный и помолодевший Василий первым делом подновляет кучу с махоркой, прибирается в своей мастерской и до обеда никого не пускает – дверь держит на запоре. Зато потом уж до самой весны она открыта любому всегда. Хотя, надо заметить, привечал Василий далеко не всех и не одинаково.

На второй или на третий день, как вернулся он из своего зимнего заточения, зашел я к нему узнать, много ли кругов осталось покрасить. Не успели мы присесть у раскрытой печки, как в избушку ввалился какой-то «маслопуп» – механик, кажется, с шестого катера.

– Все мараешь? – спросил он небрежно.

Василий ничего не ответил, но, когда пришелец «причастился» из махорной кучи и стал приглядываться, где бы сесть, Василий заметил ему:

– Иди, иди... Ломи свое дело. Тут разговор об искусстве, это не по твоим ушам! – и в слова эти вложил он все свое нескрываемое пренебрежение. Знал ли Василий истинную цену искусству, не берусь судить, но в своем деле был одержим он до страсти.

Я видывал, как он работал. Когда ему никто не мешал, он мог возиться с кругами до полуночи. Забывал о еде, времени – обо всем на свете. Склонившись над рабочим столом, цифры и буквы выводил он четко, кисть держал твердо и работал, ею с какой-то цирковой виртуозностью. В это время он не помнил, есть у него кто в будке или нет. Когда получалось особенно красиво, он вскрикивал в восторге: «Лямка!» Свернувшаяся возле раскрытой печки собака вздрагивала всей шкурой, недоверчиво открывала ореховый глаз, косила им на хозяина и, не в силах одолеть сон, снова забывалась.

А он, так и не глянув на нее, опять замирал, сосредоточенно двигая кистью по белому боку круга.

Как и все художники, Василий любил, чтобы работой его восторгались. Может, по этой причине выполнял он иногда и художественные заказы, в основном, конечно, местных заказчиков.

Как-то по просьбе берегового матроса – бойкой одинокой Дуськи – сработал он копию «Богатырей» В. М. Васнецова. Писал, наверное, ночами, потому как днем за этим занятием я его не видел.

Но вот однажды в мой приход картина была уж готова. Прислоненная к стене, она стояла на столе с махоркой.

– Ого! – сказал я, увидев полотно, и, отойдя к окну, стал рассматривать. Василий выжидательно замер сзади. Надо сказать, что с моим мнением он считался, а больше в затоне, кажется, никого слушать не хотел, подозревая всех в невежестве. Ко мне он снизошел тоже не сразу. Случилось это после того, как однажды в обед он неожиданно спросил меня:

– Кого ты больше всего любишь из писателей?

– Пушкина, – не задумываясь, ответил я и попал, видимо, в самую точку. Об этом я догадался позже, вечером, когда Василий, выпроваживая из будки матроса Брюквина, вдруг выпалил ему в лицо:

Но мрамор, сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пишу в нем себе варишь...

– Иди! – и решительно распахнул перед ним дверь.

О чем у них был спор, о литературе или о живописи, я не знаю, но поспорили они, видать, горячо. Другой причиной расположения, подозреваю я, была моя способность скоро и довольно красиво снимать эскизы с деталей.

Забежав с мороза к Василию, я клал перед собой какую-нибудь втулку или валик и, отогрев руки у печки, начинал замерять детали. Потом, не прерывая разговора, чертил на листе бумаги, проставлял размеры, обработку...

Василий, наблюдая, как я быстро и чисто делаю свое дело, проникся уважением к моему ремеслу и после этого, видимо, окончательно решил, что в искусстве я человек свой.

И вот теперь он ждал моего суда. Не знаю, как это у Василия получилось: то ли он рисовал с такой небрежностью, пользуясь невзыскательностью заказчицы, то ли портрет ему не давался или еще что, но, скажу прямо, тут его кисть не отличилась тонкостью. Правда, лошади были те же, и богатырей трое, и весь реквизит у них был, как положено. Но вот лица... Лица их были неузнаваемы! Они были не то что суровы, а помечены печатью какого-то тайного страдания. Но это еще не все. Глянув на среднего, я чуть не вскрикнул: он, Илья Муромец, как две капли воды походил на косоглазого сторожа дядю Проню, много лет дежурившего у нас на складе горюче-смазочных материалов! Проня был старик крепкий, серьезный, какой-то, прямо, ветхозаветный. Здоровье имел несокрушимое, а выражение лица мужественно-страдальческое. Дело в том, что Проня (по его же собственному признанию) постоянно пребывал с похмелья.

– Опохмелись, – советовали ему бывалые люди. Но Проня только сокрушенно мотал тяжелой головой и отвечал всегда неизменно одно и то же: «Поздно». Что было поздно, почему, этого от него никто добиться не мог. По этой самой причине кое-кто из затонских называл Проню (за глаза, конечно) пьяной харей, хотя пьяным никто никогда его не видел. И никто, наверное, во всем затоне не ощущал с такой остротой всю горечь трезвых будней, как этот великомученик Проня... Таков был Илья Муромец.

– Похож? – почему-то в единственном числе спросил за моей спиной Василий. Я как раз думал о Прониной загадке и потому сразу ответил.

– Похож.

– Тогда давай закурим, – будто трудный экзамен сдал, облегченно вздохнул Василий.

Два других, молодца прототипов в моей памяти не вызывали, и я подсел к столу.

Может, совпало так, а может, Василий назначил именно этот срок (время было как раз обеденное), но только мы закурили, как в будку пожаловала и сама заказчица. Дуська была деревенская, бойкая, но жила трудно: воспитывала двух сыновей без мужа. Три года назад муж ее, вертлявый моторист Пашка, сманил ее из родной деревни в затон. Разбитной, «боец на боечи», как звала его матрос Строповна, – поддавшись общему соблазну, он бездумно укатил в Тюмень, жил там уже второй год и Дуське никаких вестей не подавал. Она, конечно, переживала, мучалась, но на людях виду не показывала.

Пооббив у порога валенки, Дуська шагнула на середину избушки и с радостью спросила:

– Уже?

– Как велела, так и закончил.

Она затихла, любуясь картиной, а Василий, уже уверенный в себе, сразу спросил:

– Ну?

– Хорошо... Только куда это он глядит? Да и загородился-то от чего? Будто от солнышка... – она помолчала и добавила. – Не-ет, ты, Вася, подрисуй!..

– Чего?

– А хоть деревеньку какую... И чтобы солнышко всходило.

– Где это я тебе подрисую? На лбу, что ли, у тебя, места-то нет!

– А вон сзади-то до самого неба пусто, – уберется.

– Это же копия! – ища сочувствия, повернулся ко мне Василий.

– А все равно. Подрисуй!.. Тогда и возьму. А так что это – одни лошади.

Василий поглядел на нее пристально, что-то соображая, и, обреченно махнув рукой, сдался.

– Ладно! Будет тебе светило. Завтра об этих пор загляни.

Я знал, что Василий, копируя признанных мастеров, свободно обращается с их «оригиналами»: не в одном затонском доме видел я его копии с известных натюрмортов, и всюду Василий что-нибудь добавлял к тому, что стояло или лежало на столе, подставке... Однако добавления эти (наверное, тоже по просьбам заказчиков) он делал не грубо, а приглушенно, скромно, так что не сразу об этом можно было и догадаться. Перебирая все это в памяти, я подумал, что и на этот раз Василий, конечно же, добавит.

– Где же тут подрисовывать-то? – вслух прикинул и я возможное добавление.

– А-а... Чего тут говорить, – отмахнулся Василий. – Темнота! Ей бы в затон-то всю деревню перетаскать. Да и богатыря-то живого ей надо. Понятно ведь! Ну, это уж не по моей части.

На другой день, дождавшись обеда, я с любопытством спешил в избушку. Дуська была уже тут. Прислонившись к штабелю кругов, она любовно разглядывала картину как собственное творение. Только тут дошло до меня: слава Василия, наверное, тем и укоренилась среди заказчиков, что он давал им возможность стать как бы соавторами великих мастеров. Был ли в этом его грех или, напротив, добродетель была, не берусь судить.

Рассматривая новое содержание картины, я мельком поглядывал и на Дуську.

Вопреки всякой разумной композиции, на заднем плане, решительно осадив горизонт за спиной Алеши Поповича, изобразил Василий околицу веселой деревушки, уходящей домами вдаль. Из-за крайнего дома, как огромная пожарная бочка, выкатывалось раннее солнце, тусклое, без сияния, будто ленивая летняя луна. Над крышей одного из ближних домов была поднята, как развернутый флаг, голубая вывеска, на которой явственно значилось «Сельмаг».

Разглядывая все это, я пытался угадать, какой же философский смысл хотел вложить в картину Василий. Он глядел вместе с нами на свое детище, и в морщинистом лице его таилось озорство и довольство.

А Дуська?

Хоть и смотрели богатыри вовсе в другую сторону, картина для нее теперь обрела, видимо, вполне доступный житейский смысл. На лице ее сквозь полное удовлетворение проступала мечтательность. Глядела она неотрывно, с тихой улыбкой.

Может, представлялись ей тут родная деревня, дом свой... А может, думала она о том, что, оглядев окрестность, заметили наконец эти дюжие ребята голубую вывеску, повернули коней и двинули напрямик к сельмагу. Томимые тяжким недугом (развивал, я события дальше), выпросили там у продавщицы заветную посудину и, опустив своих битюгов в луга, разлеглись где-нибудь на траве за банькой.

Долго мы ничего не говорили, думая всяк о своем, наконец Василий спросил:

– Может, катер еще подрисовать?

– Не надо... Река не уберется.

– Тогда забирай!

Где теперь эта импровизированная копия, чьи чувства и мысли будит к жизни – не знаю, а вроде бы посмотрел.

В конце марта Василий всегда заканчивал свои зимние дела: круги были готовы. Малярка постепенно начинала пустеть – капитаны перетаскивали круги на свои палубы. Василий сдавал их торжественно, под роспись и на каждый круг собственноручно ставил прямоугольный штамп «Проверено УСК 198... г.».

Штамп этот Василий ежегодно вырезал из старого резинового каблука. Носил его всегда при себе, а к белой половине круга смачно приклепывал непременно в присутствии капитана – чтобы уж не было никакого сомнения: «Проверено» – и баста! Плавай!

Не знаю, когда придумал, как дошел до этого штампа Василий, но постепенно приучил он к нему не только начальство Унженской сплавной конторы, но даже Волжскую судоинспекцию.

Поначалу судоинспекторы смеялись, а потом привыкли и даже требовали, чтобы на каждом круге стоял этот штамп. Нет, как ни говори, а велико влияние печати и штампа на служебный ум!

В свой срок наступала весна, и Василий, закончив возиться с кругами, выбирался из прокуренной малярки на вольный воздух. С утра по насту он бодро шагал от малярки к пирсу, давил жестким каблуком протеза скрипучий от мороза снег. Ведерко с краской, как на крючке, висит у него на загнутой увечной руке, из кармана торчат завернутые в тряпицу кисти, а над головой как-то особенно благородно вьется в ясном морозном воздухе голубой махорочный дым. Из другого кармана выглядывает овчинная рукавичка: покалеченная рука зябнет, поэтому он всегда носит с собой одну рукавицу-леворушку. Бывает, греет в ней и правую, рабочую. Лямка в великой радости носится широкими кругами по упругому насту.

– Куда повалил, Никанорыч? – кричат ему от своих катеров капитаны.

– Сияния писать! – весь светясь радостью, взмахивает он приветственно здоровой рукой. И слово это «сияния» он произносит так, как прозревший – «солнце!».

«Сияние» – это название судна. На старых паровых буксирах его пишут по дуге, концы которой как бы спускаются в воду. Пишут с обоих бортов там, где шумят водой плиты. Красочнее полукружие это из выгнутого слова и на самом деле отдаленно напоминает солнце, наполовину опустившееся в воду и испускающее сияние. Кто и когда придумал это слово, неизвестно, но придумал хорошо. В затоне паровых колесных буксиров зимовало всегда два – «Унжак» и «Сплавщик». Поэтому настоящих сияний писать Василию приходилось немного. На катерах, теплоходах и баржах название судна или его номер надо было писать не по окружности, а по прямой горизонтальной линии. Однако и эту работу Василий все равно звал – сияния.

Сначала он обрабатывал суда, которые зимовали во льду подальше от берега. Но чем больше слабел лед, тем он ближе двигался к берегу, а со вскрытием затона совсем перебирался на сушу и подписывал уже катера, вытщенные на берег.

Таким образом, к концу всей работы опять оказывался возле своей избушки.

Чем ближе навигация – тем важнее его работа: без названия ни одно судно из затона не выйдет.

Те из капитанов, что уже готовы к выходу, таскаются за Василием по пятам, просят. И он с великой важностью ковыляет вместе с Лямкой от катера к катеру.

«Крестный», – смеются меж собой капитаны. Дает он имя посудине – будто последней улыбкой одаривает ее перед выходом в плавание. «Окрестит» всех, разбегутся суда по реке – и у него начинается спокойная жизнь: он художественно оформляет клуб, доски Почета и показания соревнований, призывы и лозунги пишет к праздникам...

А вечером в тихий закат всегда выходит покурить к затонской караванке. Тут швартуются пришедшие на ночлег катера, и он тайно любитесь ими будто детьми – еще раз оценивает свою работу. Радости этой хватает на все лето.

Не знаю, что меня толкнуло в то утро, но в затон я пришел рано. Еще тихо было в цехах, не ревели пускатями тракторы в гараже, не стучали котельщики на берегу. Вокруг было светло, по-весеннему молодо, чувствовалось, что день впереди будет долгий с журчанием и блеском ручьев. Дай, думаю, зайду к Василию, пока народ собирается. Однако на малярке висел замок. Тогда я пошел на пирс и увидел Василия, одиноко сидящим на свае.

Лямка, присев рядом, смотрела на ту сторону затона, где над белоствольным березняком поднималось солнце.

Вчера из затона ушла первая партия катеров. Снежно белея рубками, они крошили и расталкивали льдины... А сегодня затон уже был чист, только белые шапки пены спокойно скользили серединой. Я подошел к Василию, поздравил с добрым утром, но он не проявил обычного оживления, а по-прежнему глядел вниз, на воду. Медленно, будто во сне, вода то приликала к пирсу, поднимаясь по сваям, то опять с сопением осушала их.

– Смотри, что такое?.. – сказал, не оборачиваясь, Василий.

– Чего?

– А вода... Волны нет, а ходит. Вишь, как колышется. Освободилась... По-моему, она дышит.

В молодой бездумности я готов уж был рассмеяться, но вовремя одернул себя. Взглянул на Василия – он ничего не заметил. По-прежнему глядел вниз, сосредоточенно нежно, с каким-то проникновением. И понял я, что в думах и чувствах своих был он сейчас далеко от меня. Может, он и не о реке думал, а о жизни своей. Тихо стараясь не хрустеть оттаявшей галькой, повернулся я и ушел, оставив его одного. Никогда я ему не завидовал, не сравнивал с собой, но тут ощутил в глубине души что-то беспокойное: не то действительно зависть не то жалость к самому себе.

Признаться, и по сей день завидую, как вспомню, с каким счастьем говорил он эти слова: «Сияния иду писать!»

Боцман

Утро. Сажу на палубе, курю. Все катера в затоне еще спят. Обросило за ночь спасательные круги, поручни, сами палубы. Остыли машинные отделения. Свежо, чисто. А солнце уже выше березняка, вздымается на мели плотва.

– Боба, на вахту! – слышится на наливной барже хриплый голос. Потом кашель, плевков за борт, и вновь, уже чистым голосом:

– Боба!.. Команду слушать!

Черная приземистая дворняга с крепкой примесью таксы протяжно взвизгивает, сладкой утренней зевотой перебивает радостный скул и, помахивая хвостом, бежит от конуры к трапу. Возле трапа она заученно садится на брошенную мешковину, а сама неотрывно глядит вверх, к дверям рубки, на хозяина.

– Молодец, Боба, молодец... – удовлетворенно бормочет тот, спускаясь по трапу на палубу. Некоторое время шкипер ходит возле жилой надстройки, что-то поправляет за пожарным ящиком, мурлычет, а сам косит глазом на собаку, как она исполняет приказание... Но наигранное его равнодушие кончается скоро, он подходит к ней и с радостью достает из залоснившегося кармана кителя кусочек сахара.

– Служи-ить, Боба, служи-ить... Бой, служить! Звать шкипера – Михаил Павлович, а позатонски – Боцман. Но это не прозвище, а истинная и, пожалуй, главная должность, какая была в его жизни. Смолodu он служил на Балтфлоте, долго был боцманом на крейсере, прошел всю войну, служил и после войны (последние годы уже на берегу) – боцманом на базе флота.

Отдав флоту около тридцати лет лучшей поры своей жизни, вышел в отставку. И вот теперь, будучи уже на военной пенсии, работает шкипером на наливной барже – БН, или бээнке, как мы зовем. В отличие от других шкиперов он всегда ходит в полной форме: в кителе, флотских суконных брюках, фуражку носит тоже форменную, но не речную, помятую шкиперку, а свою прежнюю – с белыми кантами и большой светлой кокардой.

Я долго не попадал на его баржу: незачем было. Все у него шло хорошо, ладно, на собраниях и планерках имя его вспоминали редко. Упомянут так, вскользь, посмеются и – «поехали дальше». Конечно, учить его было нечему: он сам мог кого угодно поучить, как вести сложное, флотское хозяйство. Но в то же время проскальзывал в отношении начальства к нему этакий холодок, а уважение – как бы по необходимости. Сам Боцман живет неприметно: на другие баржи ходит редко, у начальства особо ничего не просит, хотя сам никому ни в чем не отказывает.

Жена его плавает вместе с ним, матросом. Женщинам в караване она рассказывает, что он плохо спит по ночам, особенно в короткие июньские ночи. Ему до сих пор снится война.

Он сжимается весь, кричит в маленькой каюте: «Воздух! Ложись!..» Будит своим криком ее, просыпается сам, спрашивает:

– Пива нет? Во рту пересохло...

– Да ты что, какое пиво, с самой весны и не выпивал ведь. Или приснилось?

– Да нет, так... Спи. – А сам надевает сапоги и уходит на палубу.

До пробуждения на катерах еще не скоро. Я сижу и думаю, что, может, он и сейчас проснулся от собственного крика и вот теперь приходит в себя. «Неужели так долго может сниться война? – думаю я. – Ведь уж тридцать лет прошло». Стараясь постигнуть невозможное, я перевожу все это на себя и с удивлением замечаю, что отдельные картины детства, далекие, забытые сцены вижу во сне снова и снова...

Вчера, встретив меня, попросил Боцман ведро и лом. И я выписал ему этот инвентарь. Чудной он, Боцман, больше ничего и не потребовал: другой бы шкипер не упустил момента...

Проснулся внизу капитан, взревел двигатель, и катер наш отвалил, устремился к запани.

...Лето прошло незаметно. Уже вовсю гуляла по реке осень. К концу близилась навигация. Многие суда были в затоне, готовились к отстою. Погода стояла ясно-морозная, а леса вокруг желтые, будто в благородном теплом свечении. Так же светло и успокоенно было у меня на душе: сплавной план выполнен, навигация заканчивается, а впереди долгая зима. Нет, сначала осень! Наша свободная поздняя осень – время замерзших лесных озер, коньков, подледного лова, твердых, будто залитых цементом, дорог – иди, куда хочешь: легко, сухо! А там октябрьские праздники, отпуска!..

В преддверии этого чудного времени проверяли мы с Толей Осьмушкиным последние наливные суда. Дело в том, что в конце каждой навигации начинала работу ревизионная комиссия по учету топлива. Нынче в эту комиссию входил и я, линейный механик. А Толя Осьмушкин был нашим экономистом на флоте. Вот вдвоем и кочевали мы по берегу затона уже третий день. В первые два замеряли топливо на складе горюче-смазочных материалов, обошли уже и большинство наливных барж. Везде у нас все сходилось, остатки получались небольшие. На наливных баржах тоже дела шли неплохо. И шкипера были довольны, и мы.

Оставалась последняя баржа – Боцмана. Я вспомнил, что за все лето был у него только два раза: вот тогда, когда выписывал ему лом и ведро, и еще раз до этого – рано весной. Это было перед самой навигацией, суда еще стояли в затоне. Боцмана послали тогда на Волгу за топливом для катеров, которым уж пора было отправляться на весновку. Рейс был исключительный, экстренный, так сказать. Ждали мы все Боцмана как самого бога. А его почему-то не было, хотели уж телеграмму посылать, но наутро он заявился.

– Что долго? – спросил я его, выйдя на берег.

– А мог бы и еще неделю не прийти.

Я усмехнулся ему в ответ, представляя, какой бы поднялся переполох на реке: не вышедшие из затона катера могли сорвать весь весенний сплав. Сказал ему об этом, стал спрашивать, что случилось. Однако говорить с ним оказалось невозможно: был он какой-то разбитый, злой, грозился, что больше вообще в такой рейс не пойдет, пусть даже с баржи снимают.

На другой день, когда сидел я в малярке у Василия, зашел туда Боцман с грудой спасательных кругов на спине. Я удивился: круги были покрашены наполовину, и никаких надписей на них не значилось.

– Как же это так вышло? – спросил я, по очереди глядя то на Василия, то на Боцмана.

– Сам я красил... Там, на Волге, – нехотя ответил Боцман. Из-за этих кругов и держали...

Все не подписано.

– А зачем сюда принес?.. – сказал Василий. – Пойдем на баржу, там буду писать. И высохнет быстрее.

Василий забрал кисти, краску, а мы поделили круги, и все трое отправились на баржу.

Пока Василий выписывал на кругах и пожарных ведрах «БН-25 УСК», что означает «Баржа наливная № 25 Унженской сплавной конторы», Боцман, поотойдя немного, рассказал мне свою ледовую одиссею.

– Пришел я туда чин чином. Документы оформил быстро, захожу на баржу, а тут дядя сидит. Пожарник.

– Чего, – говорю, – скучаешь?

– Почему пожарный щит не подписан? И ящик тоже? Лома на щите нет, ведра не хватает... Буквы на кругах... тоже стерлись.

– Я не художник, рисовать не умею. А круги – не твое дело, – говорю ему, – меня судоинспектор пропустил.

– Как хочешь, акт составлю, не выпущу.

– Составляй... Тебе и влетит за задержку судна. Ведь весь флот без топлива оставишь!

– Мое дело малое... Могу еще инспектора Регистра позвать, – он как раз у нас на базе.

– Ты меня в воду не толкай – я могу и посуху пройти.

Ну, что ты с дураком будешь делать! Судоинспектор меня пропустил, объяснил я ему, а этот дурачок привязался. Будто непонятно, что и щит и ящик – мои, если на моей барже они. Загорелось ему – «подписывай!» Краска у меня была, но только красная, а белил – ни грамма. Ладно, закрасил я ей. Вот он приходит утром, а у меня все как огонь горит!

– А надписи?

– А как я тебе буду писать по мокрой-то краске? – расплывется!.. Ждать надо, когда высохнет.

– Жди. Лома, значит, нет? И ведра одного тоже не хватает...

Зло меня взяло... Ладно, ведро покрасил я свое, питьевое, а лом утопил еще в прошлом году, где его на раз возьмешь? – Боцман усмехнулся. – Палку выстрогал хорошо-о так сделал! Краской замазал и – на щит. К щиту гвоздями еще прибил для «тяжести». Неужели, думаю, снимать будет, мараться в краске-то?.. Не заметил. А ходить – ходит, ждет, когда все подпишу. Ну, думаю, этого-то ты от меня не дождешься: я сам себе не враг, моим почерком только на уборных писать да и то по ночам... А тут и погода – туман, дождь – не потрафляет ему, а все – мне. Надоело, видно, отвязался.

Посмеялись мы тогда все вместе, сидя на палубе, подивились на Боцмана, и я ушел, оставив их с Василием вдвоем.

Теперь, приближаясь к барже Боцмана, я вспомнил ту весеннюю историю и подумал, что такой кого хочешь вокруг пальца обведет. «Надо с ним будет поосторожнее, с этим Боцманом...»

– Боба, ко мне! – крикнул Боцман, увидев нас, подходящих к трапу. – Свои, свои... На – кусочек. Иди на место!

– Ревизия, учет топлива, – объявил я официальным тоном, поднявшись на палубу.

– Давайте, давайте... – сказал Боцман, как будто даже с радостью. – Замеряйте, все ваше. На барже не курить, знаете, наверно. А так – замеряйте. Вот рейка, таблица танков у меня в каюте. Замеряйте, высчитывайте... Только не советую, я вам и без замеров точно скажу.

– Почему?

– Я не вор, – сказал он обиженно. – А захочу украсть, так возьму сколь надо... Еще спасибо скажете.

Мы поглядели с Осьмушкиным друг на друга и молча начали замеры. Записали показания уровней в танках (что-то много топлива было в них), пошли греться.

– Ты что, недавно заправлялся? – спросил я. Почти вся баржа полная, ничего не выбрано, по осадке и то видно.

– Летом... – нехотя ответил Боцман и достал нам документацию: схему и нумерацию танков баржи, таблицу их емкостей на разных уровнях налива, все требования, по которым

выдавал топливо. Осьмушкин записывал все это в свою тетрадь. Взяли журнал выдачи топлива, стали подсчитывать, сверять...

– Да у тебя ж излишки большие! Откуда?..

– Хы... Откуда... А куда они денутся?

– Но у других нет... У одного недостача даже.

– Недостача... – усмехнулся он. – Вон река-то – сливай сколь хошь, будет тебе любая норма, любая недостача...

Я опять вспомнил его весеннюю канитель с пожарником и стал думать, не замышляет ли он чего и теперь.

Боцман был спокоен, скорее даже – печален, обиженно отвернувшись, глядел в окно, покуривал, ждал, когда мы тут все подсчитаем. Его как будто и не интересовали эти подсчеты.

Мы пересчитали все еще раз – ошибки не было.

– Как же все это так получается? – спросил я вслух скорее самого себя, а не Осьмушкина или Боцмана.

– А так и получается, – как давно и хорошо усвоенное начал Боцман. – Катер работает три часа, а по судовому журналу пишут – пять, потому что мастер, у которого работает капитан, ставит ему полную смену, чтоб и заработал тот побольше да и простоя не было, за простои-то теперь стригут... А в следующий раз и вообще катеров не дадут... Ну, дадут один вместо трех-то. Начальники ушлые нынче, понимают все это, им план надо, премию... А капитану тоже премию надо и за выработку почасовую, и за экономию топлива... А где он все это возьмет? Двигок не работал, так топливо-то в баке не тронутое, а по часам заправляться уж пора... Вот и бежит с половинным баком к барже... У всех излишки получаются – и у капитанов, и у нас. А где они? В реке... Ночью-то не видно – лей да лей. А я не хочу, что есть – то и есть. И реке, и рыбе я не враг. Лучше вон в колхоз отдать, чем реку травить.

Это была новость, в которую не хотелось верить. Мы сидели с Осьмушкиным молча, глядели друг на друга будто глухонемые. Что-то страшное надвигалось на нас с этими словами Боцмана. Оба почувствовали это и как бы готовились, привыкали. Оба, что называется, были молодыми специалистами и понимали, что всех скрытых пружин производства пока еще не постигли. И вот три главные силы флота: плавсоставская, техническая и экономическая, то есть как раз все мы, сидевшие в каюте у Боцмана, столкнулись лицом к лицу. Кто первый отведет глаза? Я сидел и думал, какую чудовищную «операцию» творили мы на реке из года в год. Все – механики, капитаны, шкипера, мастера, техноруки, бухгалтеры – по-разному, но подгоняли передачу и расход топлива под норму, изводили на все это множество бумаг за множеством подписей и печатей. Тонны пересчитывались в рубли, в проценты, плановые цифры сверялись с прошлогодними нормами, бумаги пересылались из конторы в контору, уходили от источников все дальше и постепенно теряли живую суть речных вахт, рабочих смен. Там, в главных конторах, никто уже не видел за этими цифрами хитростей капитанов, мастеров... Все «честно» боролись за «экономия», за план. Потом за все это получали премии. Получали их и в нашем транспортном участке, и в главной сплавной конторе, и в тресте получали... Премию за преступление. Я похолодел, вообразив все это. Нет, в каюте Боцмана вопрос этот нам было не решить! Большой это был вопрос, сложный.

– Пошли? – спросил я Осьмушкина.

Он молча, неловко сгреб со стола бумаги к себе в портфель, забрав даже документацию Боцмана, на что тот сказал: «Мои-то отдай...» Извинившись, Осьмушкин: выложил чужое и не в силах справиться со смущением поспешил к выходу.

В конторе нам делать было уже нечего, рабочий день кончался, и мы пошли прямо к себе, в общежитие.

– Ты знаешь, какой хай будет!.. – говорил Осьмушкин, возбужденно бегая по комнате и роняя стулья. Он поправлял очки и не мог остановиться. – Это же весь плановый отдел, всю

бухгалтерию на ноги поднимем! И капитаны все на дыбы встанут! Механики, мастера!.. О-о-о!.. Мы, с тобой будем как враги всем, из-за одного какого-то Боцмана!

– Тебя с работы снимут еще...

– Могут... «Причина» найдется. Слушай, ведь уж приказ заготовлен к октябрьским, проект приказа видел – благодарности, премии... Есть и за экономию топлива. Все к черту полетит!

– Давай составлять акт?

– Не знаю... Давай еще раз пересчитаем по каждой барже и будем думать.

Мы снова взялись за дело. Оба тогда заочно учились, в институте: Осьмушкин – на экономическом факультете, я – на механическом, поэтому дело с топливом у нас было вроде практики. Недоверяя таблицам Боцмана, я вычислил объем танков даже с применением интегралов.

Нет, ни мы не ошиблись, ни Боцман. Мы, конечно, могли бы еще что-то придумать, сгладить, но обоим (я видел это и по Осьмушкину) было тревожно, не по себе как-то, как бывает, когда чувствуешь спиной взгляд сильного человека.

Повздыхав, мы наконец составили акт, который больше походил на приговор, и легли, будто гору свалили с плеч. Но на самом деле гора эта должна была обрушиться на нас только завтра.

– А, может, не стоит? – снова спросил Осьмушкин, когда я ему только что было позабывал, как быстро уснул он. Но какой там сон! Мы лежали, ворочались, время от времени спрашивали о чем-нибудь друг друга. Наконец Осьмушкин не выдержал, встал, снова уселся за стол.

Я понимал его: главный удар должен был выдержать он как помощник экономиста. Мне было, конечно, проще. Как-то надо было поддержать его, подбодрить, что ли...

– Слушай, брось! – сказал я. – Давай выпьем?

– Чего?..

– У меня есть, в запасе держал... С концом ревизии и планировал, а тут забыл...

Я достал бутылку, присел к столу и пригласил его широким жестом:

– Прошу к столу, мистер Осьмушкин, – сказал я шутливо, настраивая его на более веселый лад.

Шел третий час ночи.

– Ну, полный вперед под флагом Балтики! – торжественно вознес я стакан. – Иначе не быть тебе министром финансов!

– А, давай!.. – не выдержал напора Осьмушкин. – Первый салют в честь Октябрьской революции! Громом падет он на головы наших чиновников...

В четвертом часу мы станцевали невообразимое танго и легли.

А утром оба опоздали на работу. Косо посмотрели на нас сослуживцы.

– Вам что, премии к октябрьским не надо? – язвительно спросила бухгалтер Альбина Егоровна.

– А и вам, пожалуй, не будет! – отчаянно, как в ледяную воду ступил, ответил Осьмушкин. Он достал бумаги и молча разложил их перед ней.

Через, полчаса в конторе началось решительное движение: Стучали счеты, хрипел арифмометр, хлопали двери... Баржа и имя Боцмана склонялись во всех падежах. Кто-то говорил, что давно надо было его уволить, другие, наоборот, защищали. Нас с Осьмушкиным как будто даже забыли за скандальной фигурой Боцмана. Однако ненадолго. Уже на другой день Осьмушкин был командирован в другие сплавные конторы и участки, чтобы проверить, сличить почасовую работу сплавных бригад и катеров, находившихся у них летом в эксплуатации. Не забыли и меня – послали проверять топлива на остальных баржах, которые должны были зимовать вдали от затона.

Так что выезжали из родного поселка мы с Осьмушкиным опять вместе и даже рады были этому: разбирательство и шумиха вокруг Боцмана должны были отбушевать без нас.

Воодушевленный Осьмушкин, кропотливо перебирая бумаги в разных конторах, нашел немало расхождений в нарядах, табелях и рейсовых приказах по катерам. Когда он вернулся в нашу контору, тревожная волна, которая зародилась в каюте Боцмана, поднялась с новой силой.

Бумажный шорох пошел вплоть до треста. Ясное дело, приказ о премии был пересмотрен: были выявлены даже поддельные требования. Появились новые приказы – с выговорами, взысканиями...

Не стану описывать всего, скажу только, что Альбина Егоровна похудела и перестала здороваться с Осьмушкиным.

Помирились они уже весной, а точнее – 8 Марта нового года. К этому времени Осьмушкин был уже назначен старшим экономистом нашей конторы.

А Боцман? А что Боцман... Сначала ему предложили оставить производство, потом – перейти работать на берег – заведовать складом горюче-смазочных материалов... Однако он от всего отказался, до сих пор плавает на своей барже вместе со своей собакой.

Новой весной я заходил к нему, посидели мы в каюте, поговорили.

– Что на берег-то не пошел? – спросил я его. – Спокойнее было бы, и для здоровья лучше. А здесь солярка, бензин... Голова от всего этого болит, на зубы, говорят, влияет...

– А у меня их нет, – усмехнулся он.

– Ну?... я думал, у тебя свои такие хорошие.

– Немец выбил... Прикладом.

– И ушел?

– Кто?

– Немец-то?

– Ну да-а!.. Я его кинжалом прирезал, тяжелый был... В рукопашную дрались. Они нас боялись, черных – моряков, значит...

Он звал меня тогда остаться у него до ночи, а потом поехать рыбачить.

– На удочку, что ли? – спросил я его.

– Ну да-а!... Мальчишка я, баловаться-то?

– А рыбинспектора не боишься? – спросил я его. – Сеть вон у тебя валяется на пожарном ящике.

– А чего мне бояться-то, у меня ведь взрывчатки нет. А на уху-то себе всегда поймаю: я на воде живу. Был он у меня, рыбинспектор, придирааться начал за эту сеть. А я ему сказал: «Надо, так бери – она не моя, все равно вся в дырах». У меня и в трюме еще этих сетей полно валяется, лежат без пользы.

– Зачем держишь тогда?

– А куда их девать-то? Я каждой весной, как в рейс ухожу, крючков понаделаю, да за борт на тросике брошу. Бывает, не одну штуку загребешь этих сетей, пока плывешь. Всю реку ведь перегораживают!.. А рыба по воздуху летать еще не умеет. Как она пойдет? Ей на нерест надо весной-то... А он ко мне ходит, проверяет. Я рыбе не враг. А они вон как ставят нынче – на судовом ходу даже. Утопят поглубже, и ладно...

И опять я смотрел на него с удивлением и радостью. Нет, не дождался я тогда вечера, не узнал, как он ловит рыбу. Потом раза два встречались мы с ним еще: то у караванки, то на дороге к мастерским. Он при этих встречах снова звал меня к себе и рыбачить опять приглашал. Но я никак не удосуживался в суете, в вечных хлопотах навигационной жизни. Откладывал все, тянул, пока не подкатила новая зима.

Так и осталась его рыбалка для меня тайной. А может, и не было никакой тайны, а просто хотелось ему опять поделиться какой-то болью, поговорить по душам...

Строповна Европовна...

Вечереет. Умаялась река. Увели плоты с рейда, стихает рабочий шум на запани. Разбегаются оттуда последние катера. Как большие водяные жуки, они плавно скользят по маслянистой глади реки к берегу. Подбегают, тычутся носами в смольное брюхо брандвахты и затишают возле нее, будто дети возле своей матери. Капитаны и матросы, уморившись за долгий сплавной день, глушат здесь двигатели и сразу отдаются короткому сну, вверивши и себя и катер под надзор недремлющего берегового матроса.

Сегодня матрос этот – бойкая сухонькая старушонка Марфа Евстратовна, или попросту Строповна, которой говорят, лет восемьдесят от роду. Хотя точный ее возраст для всех на реке остается постоянной загадкой. Дотошные уверяют, что ответ на эту загадку хранится в сейфе отдела кадров. Востроносая, в цветном легком платочке и кирзовых сапогах, она легко прохаживается по обносу брандвахты, зажав под мышкой рукавицы, и все время посматривает к запани, откуда бегут последние катера.

Две наши брандвахты, стоящие напротив клуба и столовой на берегу, да несколько подошедших катеров составляют как бы единое вечернее общество. Как в деревне, сбыв дневную жару, отдыхают люди вечером на крылечке, так и мы сидим на своих палубах, кто где устроился – на кнехтах, лебедках, краешках трапов – сидим, курим, глядя на вечеряющую реку, ведем необязательный разговор.

Строповна слушает, но в разговор не встревает: к работе своей она относится с большим усердием и уважением, может быть еще и потому, что для капитанов ее «чин» – так, тринтрава. Подходя к брандвахте, каждый из них норовит что-нибудь сказать ей не то в шутку, не то всерьез:

– Доброго здоровьица, Марфа Истратовна!

– Принимай, Строповна!

– Как делишки, Марфа Европовна?

Она принимает чалки, но отвечает не каждому, а с выбором.

– Как поживаешь, Марфа Евстратовна? Давно не виделись!..

– А хорошо, милой! Живу – не нарадуюсь!..

– А ты поправилась нынче, подюжела.

– Дак, знамо, Вася... – ловко подхватывает она чалку. – Али как эта, мамакака-то, жена Пашки-шкипера, уж рядится, рядится, панелится, панелится... А толку-то! Обезьяна обезьяной... Тьфу! Коряга с Ильина бору, пра!.. До утра будешь стоять, Вась?

– До утра.

– Тогда валяй вот сюда, подходи помаленьку... Вот на это место. Пойдем, распишешься у меня в журнале и в кино беги.

Она ведет капитана в свою каюту, там лежит на столе серая «амбарная книга», поименованная большими буквами «Вахтельный журнал приема и сдачи катеров». Строповна раскрывает ее, а сама не умолкает:

– Фильм, говорят, хороший привезли. Тоже собираюсь. Туфли вон почистила, все приготовила... Так, восьмой, значит, – записывает в журнале.

– Трап овна!.. – слышится за окном нетерпеливый голос – кто-то еще подошел к брандвахте. Да где ты, мать твою!.. Э-эй... Лямошница!..

Как подпаленная, вылетает Строповна на палубу:

– А что ты лаешься-то, охальник! Что ты больно дорогое привез-то! Растребовался!..

– Дусту привез!

– Ах ты, рожа ты поганая! Подошва ты навозная! Да что ты стоишь-то? Отеренок ты ржавой, брошенной!.. Ты пальца моего не стоишь! Ведь фунту, отеренок, не тянешь, а батманисься! Пра!.. Выгнать бы давно! Чего и держат только!.. Все буи посшибал!..

Довольный капитан молчит, а катер его между тем потихоньку подносит к брандвахте. Строповна угрожающе идет по палубе навстречу:

– Не подходи, враг!.. И под охрану не возьму! Иди вон на пустоплесье. Не надо мне таких! Все люди как люди, а этот... Что вытворяет, налил зенки-то! Завтра вот позвоню Василию Степанычу... Уходи!

Заглушив двигатель, катер, будто раздумывая, неловко переваливается на волне с боку на бок.

– Отрабатывай! – решительно взмахивает рукой Строповна, увидев подходящий еще катер. – Дай порядочным людям место!

– Принимай, Марфа Остротовна!.. Как здоровьице, как поживаешь?

– Ой, спасибо, Коля, спасибо, батюшко! Хорошо больно, лучше не надо... А ты иди, иди! Харя сиволапая! Выпялился... У-у-у!.. Вражина... Что удумал... Это разве люди? Это гитлеры!.. – и снова ласково: – До свету ли стоять будешь, Коль?

– Да посплю малость.

– Тогда давай вот сюда, давай вот на этот кнехт... Не приборно тут. Всю ночь как в зыбке будешь баюкаться...

Ненавистный Строповне катер, так и не коснувшись брандвахты, отрабатывает назад. Капитан его, рыжий озорной Санька, – хороший капитан, ловкий, но и баламут несусветный – «убегает» на середину реки. Счеты у Строповны к нему старые. Теперь уж не все и помнят начало этой истории. Года два или три спустя, как устроилась Строповна работать в транспортном участке, освободилась маленькая квартира в поселке (поселок всюю строился), которую тут же и дали Строповне. Как на крыльях летала она, перетаскивая свое барахлишко из общежития... Не успела опомниться от этой радости – подвалила другая... Но здесь следует рассказать и предысторию.

Той осенью зашел по каким-то делам начальник затона на склад к коменданту поселка и увидел покрытое пылью широкое кожаное кресло.

– Вот это трон! – сказал начальник, думая, как тепло будет в этом мягком удобном кресле зимой. – Отдай-ка ты его мне...

Первое время креслом начальник был доволен. Все сослуживцы конторы завидовали ему. Особенно восторгалась старший бухгалтер Альбина Егоровна: «Ну и кресло у вас, Василий Степаныч!».

Однако совсем скоро начальник сидел уже на своем обычном стуле, переставив кресло по другую сторону стола – для посетителей. На удивленный вопрос Альбины Егоровны он ответил, что в кресле этом его тянет в сон, а другое дело, надо, мол, уважать и посетителей. Особенно старался начальник усадить на это кресло тех, кто любил посидеть подольше. «Быстрее уйдет», – думал про себя начальник. Дело в том, что в кресле водились клопы. Альбина Егоровна тоже с удовольствием присаживалась на край кресла, но подолгу сидеть как бы стеснялась, быстро уходила, и не забывала при этом всякий раз похвалить кресло. Чего греха таить, лелеяла она надежду попросить кресло у Василия Степановича, да стеснялась сразу, выжидала, возможно, и потому, что была дамой царственной, тяжелой, и сидеть на обычном стуле ей было как-то неловко: не убиралась она на этой малой площади.

И мечта ее сбылась! Начальник, выждав стратегически рассчитанное время, обронил однажды небрежно, не отрываясь от бумаг: «А можете взять...»

И кресло оказалось за главным столом бухгалтерии. Василий Степанович, бывший капитан катера, и в начальниках флотского юмора не забыл. Теперь он частенько стал заходить в

бухгалтерию то к экономисту, то к самой Альбине Егоровне и осторожно приглядывался к ней. «Ага, пожигают!.. – отмечал про себя. – Ну, тут вам хватит!..» – а вслух говорил:

– Что, Альбина Егоровна, беспокойно сидишь, перед ревизией будто?

– Да так, не выпалась чего-то, голова болит сегодня...

Через неделю кресло было выкинуто в коридор – для вольного посетителя, а потом и вовсе его выдворили на крыльцо конторы. Днем, греясь в скупом осеннем солнышке, спала на нем конторская кошка, а ночью величественно восседал сторож. Вот в это-то время и попало на глаза Строповне кинутое на произвол судьбы кресло.

– Что это такое богатство кошке отдали? – возмутилась она и согнала кошку с нагретого места.

– А вот, – будто ждал ее, вышел на крыльцо начальник, – квартиру получила? Получила... Забирай теперь и мебель новую. Отдыхай после вахты... Вон, смотри-ка – это возчик Демьян едет на лошади?. Давай грузи скоренько и вези, пока никто не видел.

– Ай!.. Или вправду, Василий Степаныч?!

– Бери, бери, пока дают... Задаром...

– Вот спасибо-то, вот настоящие-то люди как!..

Узнала она потом или нет, что кресло было с «секретом»... Но это и не важно: все равно беда ее ждала неминуемо. Когда пооттопила она свое новое жилище, из потемневших пазов и изо всех щелей древнего обиталища выползла несметная армада местных клопов... Весь поселок оббежала она, спрашивая везде дусту. В магазинах, как на грех, никакого такого яду не было, и Строповна – она дежурила тогда на берегу в караванке – целыми днями проходу никому не давала, встречного и поперечного спрашивала про дуст. Иные чистосердечно советовали ей выморозить их с наступлением настоящих холодов (зима только начиналась), механики предлагали солярки, уверяя, что ни одно насекомое ее запаха не выносит... Но все это не подходило. Как известно, самый лютый мороз паразита этого не берет; притворившись, он замрет и будет ждать столько... В общем, жизни твоей не хватит! А от солярки у Строповны и в караванке голова кружилась. Когда пропитанные ею за лето механики собирались покурить в будочке, она уходила на воздух.

Так или иначе, но вскоре о ее беде знал весь затон, узнали, что и выход она нашла: какая-то умная голова посоветовала Строповне устроить клопам «баню», то есть ошпарить их «живым» кипятком. Конечно, она и сама это знала, но как-то растерялась на раз, забыла.

Не скоро, но жилище свое она вычистила, клопов изжила, а вот «славу» свою изжить так и не смогла, слава – хоть дурная, хоть добрая – она сильнее клопов, и просто так, дустом, ее не вытравишь. А помог укорениться славе все тот же баламут Санька.

От осени до весны в затоне срок не велик: по снегу и по льду заканчивается навигация, со льдом и снегом и открывается она. В апреле как одного из самых ловких капитанов послали рыжего Саньку за удобрением на Волгу. Уходил он из затона вместе со льдом. Судходной обстановки ни на Унже, ни на Волге еще не было, рейсы были рискованные, доступные не всем... Но Санька прорвался, баржу с удобрением для колхоза заполучил так быстро, что не только в ресторан сходить, о чем мечтал всю дорогу, а едва хлеба успел купить и – в обратный рейс. Шел только в дневные часы, самую тьму приходилось пережить, отстаиваться у берегов.

В затон прибыл Санька к вечеру, баржу-площадку с кучами удобрения притащил к самой караванке: ставить под колхозный берег было уже поздно. Другое дело – торопился капитан в магазин, всю дорогу высчитывал время. Курева у него не было и еды опять никакой. И успел бы, у него редко что срывалось. Но едва сошел на берег, поздоровался с капитанами, сидящими возле караванки, как узнал, что магазин закрыт на учет. Выругался он, затягиваясь чужой сигаретой, и стоял так, расстроенный, злой, голодный и вдобавок еще непохмеленный (о чем, конечно, никто не знал): попутчик-отпускник ехал с ним до затона.

Вот в это-то время и выкатилась из караванки Строповна.

– Чего это ты, Саня, привез? – дружелюбно пропела она, приглядываясь из-под руки к белевшим в ранних сумерках кучам на барже.

Примерился он на нее глазами, будто на дрова или на кнехт, и ляпнул:

– Чего, чего... Дусту! Вот чего... Надо, что ли? Бери тонны три – дам по благу!

Капитаны, мирно курившие у караванки, повалились с завалины, сраженные смехом...

А Строповне после этого житья в затоне не стало. Любой озорник, зная слабость Строповны молодиться и похваляться этим, обязательно спросит при встрече:

– Как здоровьице, Марфа Евстратовна?

– А хорошо, милой, – не чуя подвоха, с готовностью отвечает она, – живу как райская птица!

– Дусту не надо?..

Но Строповна не сдавалась. Много-мало – три года, а поняла уже она за это время, что на флоте голову надо, всегда держать высоко, иначе совсем затюкают. Такой уж это народ, речники. Вон им даже кино везут чуть ли не на катер.

Пятнадцать минут остается до начала сеанса. Все катера уже причалили. Но народ с палуб не расходится. Убежав на середину реки, рыжий Санька что-то замер там, даже двигатель заглушил, качается на своей собственной волне. Никого уже на реке. Все тише рассерженные причитания Строповны. Все, кто сидит на брандвахтах, на катерах и на берегу, с любопытством поглядывают на Санькин катер: что же он еще выкинет? А он, мерзавец, чувствует, что на него глядят, от него ждут чего-то необыкновенного. Поэтому вновь с растяжкой, будто на базаре, выводит на всю реку:

– Ду-усту кому-у!..

Хорошо и далеко слышно по вечерней воде. Каждый звук плывет как бы отдельно, чисто. Слышно Саньке, как там ответно смеются на палубах, кашляют. Спугнутые криком, взлетают утки с озера, что спрятались в лугах возле реки. Они летят низко, на зарю, прямо над Санькиным катером. Санька хватается палку и демонстративно целится в них. Потом, кинув палку за борт, кричит снова: «Трап-пов-на-а! Приготовить трап, иду на швартовку!..» Озоруется, выступает на рейде, будто на сцене...

Надурчившись, он делает на реке широкий круг и с ходу врывается в песчаный берег между брандвахтами. Но врывается не как-нибудь, а в притирку к стоящим тут лодкам, чтобы все видели его лихую точность. К самой: брандвахте подходить все-таки не решился. Мало ли что: рассвирепевшая Строповна сбросит ночью чалку с кнехта, утром проснешься – и берегов не узнаешь.

Представление на реке окончено, все отправляются в кино. Проверив последние записи в своем журнале, спешит и Строповна. Клуб рядом – вышел на самый берег из лугов, будто посмотреть захотел на реку. Да это и не клуб вовсе, а широкое гулкое помещение из бревен, наподобие сарая. Печи и потолка там нет, драночная крыша кое-где прохудилась, и приглушенный ночной свет просачивается в эти дыры, похожие изнутри на запотевшие осколки зеркала.

Хлопотливо трещит на чердаке кинопередвижка, дымным лучом прорезая сумеречное пространство сарая. Капитаны и матросы сидят под этим лучом на деревянных скамейках, не снимая форменных фуражек. Разговаривают вполголоса, курят, в одном месте собрались кружком и закусывают потихоньку. Дверь в клуб полуоткрыта – заходи и выходи любой. Когда сменяют часть киноленты и аппарат стихает, слышно, как за белым полотнищем экрана, там, в лугах, покрякивает на полном приволье коростель. Его спокойный размеренный голос можно бы слушать и без кино. Но и смотреть картину он не мешает никому.

Скоро веселая, в тельняшке, укротительница тигров благополучно завершает на экране свое ловко-счастливое дело, и в «зале» вспыхивает свет – единственная лампочка, свисающая со стропил. Все расходятся, тянутся в сумерках снова на свои палубы. Опять скрипят двери рубок, гулко отзывается железо палуб, слышен неясный говор... Но постепенно все стихает,

один за другим гаснут желтые кружки иллюминаторов на катерах – будто смежаются они от усталости глаза – и воцаряется на реке покой.

Тепла парная летняя ночь. Все уснуло: вода и берег. Одна Строповна не спит, скользит она бесшумной тенью по обносу брандвахты, глядит не наглядится вокруг. Слушает сонные всхлипы реки, долго следит, как помигивает в ночи огонек на воде – это плотовщики ждут на плоту своего буксира. Мрачно-синее небо над брандвахтой велико, беспредельно. Густая синева эта, опускаясь к горизонту, становится бледно-зеленой, будто стекло, подкрашенное снизу лимонной желтизной... А еще ниже, на мрачных зубцах ельника, тяжелым пластом лежит напряженная краснота. Она будто остывает в прохладе ночи. Зоревое полукольцо не гаснет всю ночь, отражаясь в ласковой, как густое сусло, реке. Долго, степенно переправляется заря с правого берега на левый, все ближе и ближе к востоку. Пройдет час, полтора, и вновь она будет ярчить и шириться, будто наливаясь изнутри малиновым светом. Но пока нет никаких признаков утра, хотя и на ночь не похоже. На оранжевом будто атласном занавесе зари четко вышиты ажурные решетки крановых стрел, а рядом, как черные заплаты, мрачные квадраты их противовесов. От розовой воды, в которую впаяны понтоны кранов, исходит желто-розовый пар. Молчаливо, величественно все. Но не греет эта ночная заря, все больше стынет воздух, все крупнее зерна росы на поручнях и кругах брандвахты. Всю ночь тускло горит одно-единственное окно в тесовой будочке на берегу. Так и не дождавшись, когда там лягут спать, поеживаясь, спускается Строповна в свою каюту и вместо туфель надевает просторные мягкие валенки.

Проводив самый глухой час полночи, она переходит вместе с зарей на другой борт, к лугам. Два борта – как две стороны ее жизни. На реке ее сегодняшняя жизнь, а в лугах будто бы еще плавает в тумане далекое прошлое. Нежно-матовым налетом приглушил этот туман кусты, озеринки в низинах. Течет оттуда неспугнутый запах луговой свежести, озерного ила. Глядит в луга, думает, что подошло уже время сенокосу. Вспоминает свою деревню, те давние годы, когда не одна кожа за лето сторала на плечах и руках. Все в ее жизни было: жатва с утра до ночи с серпом в наклонку, снопы, суслоны, молотилка на току... В войну мужа и двух сыновей проводила на фронт. Сколько слез пролила, наклоняясь над котлами с пойлом. Всю войну так проработала скотницей на колхозной ферме. Не только сена, соломы не хватало, новорожденных телят носила в большой корзине-плетюхе в свою баню, от бесконечного таскания ведер пальцы не разгибались на руках. Ни от какой работы не отказывалась. После войны долго в пастухах была. Муж, вернувшись с фронта, вскоре умер, а оставшиеся в живых дети к тому времени уж разъехались по городам. Чего ей было сидеть одной дома – пошла пасти. И семь лет подряд, в дождь, в жару, в ветер – все одна – в поле, в лесу, в пустошах... Говорить разучишься. И так до «белых мух». Может, с тех пор и стала ей жизнь на людях казаться праздником. Многие, ее сверстницы, прижатые в войну непосильной тяжестью бед, одна за другой угасли, покинули этот мир так же терпеливо, как и жили.

А ее ничто не брало. Она и сама удивлялась своей крепости. Легко, будто в молодости, бегала она по кустам и оврагам, загоняя коз и овец в стадо. Прокалит ее за лето солнце, обдуют все ветра – и зимой ни одна болезнь не пристает. В колхозах тогда жизнь не больно богата была. Но в пастухах – жить можно было. Когда стали давать пенсии колхозникам, дали и ей. Из пастухов к тому времени она ушла, однако на двенадцать рублей в месяц жить ей показалось скучно. «Это и буду я сидеть, ждать этой дармовщины! – возмутились она перед подругами. – Да я вон в затон уйду!..»

И ушла. В затоне тогда брали всех: приходили новые суда, сплав увеличивался, поселок строился... Люди нужны были позарез. Поэтому те, кто не решился бежать далеко, в город, повалили сюда. По ядреному апрельскому насту прикатила и она.

– Сколь годов-то? – спросил начальник.

– Да... 59... всего, – робея, соврала она на добрый десяток.

– А не 95? – усмехнулся начальник. – Может, ты цифры перепутала? – а сам уж подписывал ее листок. – В кадры! И с богом, работай.

Ей даже и не верилось, что так шутя устроилась. Стала переживать за возраст свой, за дом, который пришлось оставить теперь без пригляда, за огород... Но все обошлось. Сначала работала разнорабочей на берегу: прибирала территорию, укладывала дрова, промасленную ветошь выносила из мастерских. Потом дежурила в караванке. А под конец и вовсе повезло – определили ее матросом на брандвахту. Попала она к самому молчаливому шкиперу в затоне Буль-Буле, из которого никакого сведения под пыткой не вытянешь: он будто окаменел от времени и однообразия в работе, Но все равно за возраст свой переживает она и по сей день, хотя вроде и прижилась уже среди этих речных горлопанов.

«О-хо-хо... – вздыхает она, прохаживаясь по остывающей брандвахте, – ушли мои годы, пролетело времечко золотое... А ничего страшного! – тут же спохватывается, испугавшись. – Подумаешь – 75! Я еще лучше Матрены-то шкиперовой, недаром, что ей только 63! А мне и 60-то не все дают! Хоть и соврала Василию-то Степанычу, как примал... А и хорошо, что соврала: ложь-то во спасение бывает, видно... А ну-ко бы без работы-то! Да что это за жизнь! А тут – и каютка своя, и жалованье дают, и на народе все время – живешь, как на празднике. И в почете вся! Да разве сравнишь с пастушеством! А какой труд-то: вота гуляй! Ночь-то, господи! Хоросьво-то какое – не наживешься!»

Нет, не верит она в свой возраст, не понимает болезней. Будто одной ей из одногодков досталась эта новая жизнь как бы в придачу неизвестно за что. Бывает, соберутся затонские бабы в караванку посудачить по флотскому обычаю (хотя обычай этот древнее флотского), и Строповна тут. И вот начинают – у кого что и где болит, да как болит, да чем лечить... Слушает она их, слушает, со скукой поглядывая в окно, да и взорвется:

– А ну-ко вас к еретику! Да что это за «болит»... Притворяетесь вы! У меня вот ничего не болит! Делать вам нечего, вот и сидите да слушаете, не ноет ли где!.. – и пойдет из караванки на берег.

Сейчас, на брандвахте у Були, ей и охранять-то бы нечего: капитаны почти все ночуют на своих катерах, редко какой неумный убредет в поселок к знакомой бабенке. Но она охраняет – служба есть служба! «И вовсе это не шутейное дело, – считает она. – Не всякому доверят!»

Так за думами незаметно проходят ее ночи. Спихватится, оглядится – батюшки, день уж! Все отчетливо вокруг, видно: краны, баржи, сплоточные машины на рейде, маленькая тесовая будочка на берегу, в которой так и не погасили свет. «И чего делает, всю ночь не спит?» – думает Строповна и только тут догадывается, что в будочке никого нет, просто два окна в ней друг против друга и зря сквозит через них всю ночь.

Почти каждое лето к ней приезжают внучата, и она не нарадуется, что есть у нее своя каютка, в которой она всегда может их приветить. По простоте своей душевной она всем рассказывает о своих гостях, гордится, и опять кто-нибудь найдется, подденет ее за живое:

– А внуки ли, Строповна?.. Ты что, до 60 лет рожала? Спуталась ты, правнуки это!..

– Полно, лешой! Не плети-ко не дело-то... Или я хуже тебя знаю! Мне всего-то 67!

Совсем истончился туман в лугах, стихли ночные птицы, сквозит через ельник вылезавшее солнце. Пора... Строповна идет на другой борт, поближе к катерам. Сейчас начнут просыпаться, загрохают трапами, застучат дверьми, завоюют как оглашенные на всю реку сиренами, будто глухая она, Строповна. Нет чтобы самим снять конец, да отойти потихоньку – где там! Каждый норовит во всю силу, выхваляется будто:

– Вахтенный, чалку!..

– Евсхрап-повна!.. От-давай!

– Стратостатовна!..

– Сатраповна!

– Сустатовна!..

«Вот бахвалы-то! – думает она, летя во весь дух по палубе. – Чего не напридумывают!» Сквозь гул прогреваемых дизелей она не все и понимает, что они там кричат из своих железных рубок, едва сдерживая улыбку. А узнать охота, любопытство берет, но боязно: пристанут, как с дустом, – не отвяжутся!

– Эй!.. Лямошница! Лямку скинь!

Вот уж этого терпеть никак нельзя! Ведь и выдумают враги! И боится она, не выдержит, понесет когда-нибудь бахвала на всю реку. «А они все этого только и ждут, и ждут... Но нет, не дождутся! – крепится она, по очереди сбрасывая чалки. – Боже упаси – до смерти не отступятся! Только покажи...»

Каждый день ее отчество меняется, каждый день они зачем-то испытывают ее... Нет, не легко на реке стать своим человеком. Поняла уже это она, чутьем учуяла и ждет с нетерпением, когда они скажут наконец о ней так же, как о диспетчере Полине Михайловне: «Это наша баба, флотская...»

Ну вот, и все разбежались... Сейчас объявится ее сменщик, сдаст она недельную вахту и пойдет на пристань. Сегодня домой поедет. Раз, а то и два в месяц она всегда потихоньку ездит в свою деревню: в огороде надо прополоть, за домом приглянуть. Разные поедут люди на этом крылатом чуде – «Ракете»: городские и деревенские, молодые туристы и старые полковники, приезжавшие порыбачить на Унжу. Усядется она среди них скромненько у иллюминатора, постарушечьи поджав ноги, и будет глядеть на проплывающие мимо катера, баржи, плоты... Знакомо ей все не по одной уж навигации. И никому из пассажиров (да и из команды «Ракеты» тоже) и в голову не придет, что работает она на этой же реке и судовая роль ее – матрос.

Тришка-рви

Так и вижу – бежит он по затону, легкий, полурасстегнутый, небритый и, кажется, слегка хмельной. Разбитная прыть то и дело сшибает его с дощатого настила, брошенного на сыпучий песок. А он и по песку бежит так же прытко. Взмок, тяжело дышит, на самом куполе загорелой лысины ветреет паутинка из нескольких бесцветных волосков. Но глаза глядят весело, приветливо.

– Трифон Северьяныч! Погоди!.. – махнешь ему от моторного цеха.

– Аю-ю!.. Что, милой? – живо откликается он. – Сейчас подбегу!.. – И подбежит, не поленился, позови его хоть ребенок. А он, Трифон, старик. Все у него старое: на кистях загорелых рук выпирают суставы, коричневая шея изрезана морщинами, лицо в складках, плечи обвисли, кустистые брови поседели, а глаза – молодые! Подлетит он, еще издали протягивая навстречу руку; глянет на тебя своими светлыми, голубыми глазами – и будто обдаст всего мягким голубым светом. Постоит с тобой минуты две-три, все время улыбаясь и как бы растворяя этим всю твою боль-печаль, а под конец порывисто обнимет да прижмет к себе как ребенка: «Полно, милой! Пойдем-ко со мной...» И пойдешь, куда бы он ни позвал, забыв все свои дела и заботы... И только потом, не сразу, будто очнешься от его странного гипноза.

Светло и чисто глядит он на мир. Живет как-то до зависти откровенно, с той неподдельной легкостью и простотой, какие даются как бы в награду людям только очень чистой души.

Вспоминаю весну. Долгие апрельские дни начала навигации были и нашей радостью и новыми заботами. Отремонтированный за зиму флот наконец разбежался из затона, и забота о нем как бы сваливалась с наших плеч. Но в то же время, затерявшись по всей реке (а точнее – по многим рекам), суда дробили нашу общую заботу о них на множество мелких, далеких, а иногда и труднодоступных дел. Обычно к этому времени флот в затоне уже отремонтирован, ждет только несамоходный – баржи, брандвахты, понтоны... Оставшись на свободе, шкипера неспешно довершают свой ремонт, готовятся тоже к выходу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.